
author: Антон Милорадов
title: Собирая Зельду
date: "2015-11-07"

That's me in the corner
That's me in the spotlight
Losing my religion

R.E.M.

0

Иногда я хочу, чтобы ее разорвало на части. Длинные тонкие руки. Пальцы, которые она любит с хрустом выламывать, но никогда не покажет этого в присутствии других людей. Ухоженные ногти. Ноги, без изъяна, но по отдельности растянувшиеся на холодном асфальте. Туловище со шрамом от аппендицита (я не знаю, есть ли он) и маленькой грудью. Томик Бродского вместо души. Нос с горбинкой. Большая родинка над губой. Детское лицо, отупевшее из-за пустоты глазниц.

Карие глаза. Какой все-таки неинтересный цвет, этот карий. Самый расхожий. Невыдающийся. Обычный. Тупой. Бычий. Скучный. Никакой. Как у нее получается так быстро зыркать на меня, будто я ее собственность? Почему когда она смотрит мне в глаза, ее взгляд заставляет меня заикаться и возбуждает желание сбежать? Откуда столько нервной дрожи в ее взгляде? Как же я ненавижу эти глаза. Я бы размазал их подошвой ботинок по тротуару. Только после этого она перестала бы существовать.

Но даже, когда я пишу этот текст, мне все равно интересно, что она о нем подумает, что скажет мне. Понравится ли ей картинка, когда склизкий глаз медленно размазывается грязным ботинком по асфальту, как яйцо по терке? Да, ей понравится. Точно понравится. Ведь, мне кажется, я знаю все, что происходит у нее в голове.

Но она никогда не покажет, что ей понравилось. Ведь речь идет о ней. Она нервно улыбнется на секунду, потом сделает над собой усилие и презрительно хмыкнет. После этого сосредоточится, придумает резкий, точный и, по возможности, остроумный ответ. Потом почувствует себя победившей. Она хочет, чтобы я продолжал. Чтобы она могла и дальше презирать и наслаждаться победой.

Часть первая

1

Три часа ночи. Кофейня. Самое время пить кофе. Во всяком случае, Рыжая считала именно так. Точнее, я не думаю, что у нее было свое мнение на этот счет, но процесс поглощения кофе ночью был моденьким делом, а значит его следовало неуклонно выполнять. К тому же "мы ведь должны где-то бывать". Мне же было абсолютно все равно, ведь я редко сплю ночью, да и долг требовал от меня выполнения глупых желаний Рыжей, потому что я решил, что люблю ее. Сонная официантка несла очередную чашку. За окном спал город, который знал как провести утро, куда более содержательно, чем проведем его мы.

— Ну это самое, если мы, короче, будем по одному дню в каждом городе, а спать в самолете, то мы сэкономим тучу денег, ну ты понял, — зудела свою мантру Рыжая.

— Мы ведь так ничего не посмотрим.

— Но зато мы будем вместе. Везде. И сэкономим тучу денег, — прорычала Рыжая и пристально посмотрела на меня своими поддельными зелеными глазами. На самом деле, глаза у нее были голубые, но к ярко оранжевому цвету крашенных волос куда больше шли зеленые. Поэтому она носила линзы.

— Так мы и так будем вместе. Просто снимем гостиницу. Надолго.

— Но не дольше трех... четырех дней!

— Договорились. Дай пять!

На тот момент в жизни меня волновали три вещи. Во-первых, Рыжая абсолютно не умела говорить. Когда для выражения мыслей у нее заканчивались слова-паразиты она начинала рычать, мычать и издавать прочие звуки. Особенно сильно эта черта проявлялась, когда она начинала нервничать. На мои попытки заставить ее говорить скороговорки, она: материлась, быстро, съедая все буквы, проговаривала “Бктугуубтубуньбчок”, материлась и посылала меня по матушке. Во-вторых, меня крайне смущал Иисус. Он мертвый и на кресте раскачивался перед грудью Рыжей и в самый ненужный момент лупил меня по носу. На все просьбы разлучится с духовным, хотя бы на момент грехопадения, Рыжая отвечала решительным отказом, и пророк продолжал свою диверсионную работу. В-третьих, кофе был отвратителен.

Рыжая лениво подняла взгляд и улыбнулась. Мысли о последних оставшихся проблемах ушли сами собой. Теплый свет в кафе давал глазам отдохнуть. За окном послышался звук резко тормозящей машины, а позже — глухого удара.

— Ну ты это, думаешь, насмерть?

— Да пофиг.

2

В моей комнате серые стены. Соседний дом, с множеством окон, заполняет целиком мой вид из окна. Под ним — стол с компьютером. На столе разбросаны листы бумаги, коробки, книги, зарядки, чашки и обертки от конфет. Справа стоит рыжий диван в три секции. Разложенный и неприбранный. Над ним — фотография с видом Сиднея. Напротив — черно-белый портрет Чарли Чаплина в полный рост. Открытый шкаф для одежды. На стуле висят три смятые рубашки, которые давно стоило постирать.

— Ты извини, у меня бардак, — мантра, которую я повторяю всегда, когда ко мне кто-нибудь приходит. Даже если прибрано. Привычка.

Люди делятся на две группы: одни отвечают: “У тебя всегда бардак, расслабься”, другие: “У меня бардак куда хуже”. Рыжая относилась ко второй категории.

Рыжая жила неподалеку. Это было крайне удобно: она могла прийти в любое время суток и быстро. Что очень способствовало нашему сближению.

Говорить было решительно не о чем. (Я не знаю, как разбавить эту натянутость. Всем абсолютно очевидно, к чему идет речь. Описывать процесс, на мой взгляд, здесь абсолютно излишне и очевидно преждевременно. Иначе возникнет натянутая пошлость. Но и объяснить, что делала Рыжая у меня рано утром, мне не представляется возможным. Не уверен, что эта вставка не представляет собой такую же пошлость. Кстати, наступило утро...)

Солнце вошло над моим домом, отразилось от окон соседнего и зайчиком запрыгало по лицу Рыжей. Она улыбнулась. В ее улыбке было что-то детское и очаровательное. Рыжая замычала:

— Твою мать! Пора вставать, да?

— Наверное, — спросонья ответил я, — Не очень понимаю, что значит “пора вставать”, в

контексте моих каникул и твои выходных. Эта фраза абсолютно не имеет никакого смысла. Ведь день здесь слабо отделим от ночи. Движения нету, а время не имеет конца. Цели тоже никакой нет. А значит сон является достойной альтернативой бездействию. Да и пробки на проспекте.

— Не, я ведь обещала отправить открытки в Гватемалу. На такой новый сервис подписалась, ты не поверишь.

— Зачем тебе это?

— Ну это самое... Ты отправляешь открытки. Тебе открытки приходят. Со всего мира.

— Ты этих людей знаешь? — удивленно спросил я.

— Так в этом вся фишка.

— В чем?

— Это самое. Чтоб движение было, а время имело конец. Или как там, — Рыжая встала и начала собираться. Она всегда носила с собой зубную щетку в маленьком синем гробике, — Слушай, а может не поедешь? Нам здесь хорошо. Да и далась тебе эта свадьба. Хочешь я здесь тебе свадьбу найду, чтоб фотографировать.

— Я уже согласился. Да и моя тетушка замуж выходит, мы с ней все детство дружили, как не съездить? Кроме того, мне нужна своя Гватемала, разрушающая пространство и время.

— Анжелочка! — пробурчала Рыжая, хитро поглядывая на меня исподлобья.

— Анжелочка, — изображая максимальное простодушие ответил я. Рыжая еще пару секунд пристально смотрела мне в глаза, а потом сказала:

— Восемьдесят пятый не забудь. Мне кажется, он будет очень в тему. Обработать помогу, у меня дофига времени на работе. Когда она?

— Через неделю.

— Может передумаешь еще. И постарайся побыстрее.

Я проводил Рыжую и остался один. Я люблю ходить взад-вперед по комнате и громко разговаривать сам с собой. Слова становятся более значимыми (ой ли?), когда ты их произносишь вслух, даже если никто не слышит. По крайней мере, мне так проще думать.

— У меня было в планах на лето прочитать: Улисса в оригинале, Одиссею перечитать, три Достоевских, два Хемингуэя, Бальзака, две книги по фотокомпозиции и три по фототехнике. А не прочел я ничего. НИ-ЧЕ-ГО.

— Неправда, Бальзака все-таки открыл.

— НИ-ЧЕ-ГО.

— Зато буду фотографировать свадьбу у Анжелочки.

— Ну это достижение... для Анжелочки.

— Зато помнишь, статью вчера прочитал. Большую.

— Это ту, которая про лупанарий?

— Про лупанарий. С картинками.

И я решил, что нужно что-то изменить. Все-таки надо образовываться. Но потом включил компьютер, и день пошел своим чередом.

(При пересказе электронной переписки есть очевидная проблема: она не является как диалогом, так и письмом в классическом восприятии. В ней легко можно найти приглушенность эмоций и стремление к стандартным схемам. Но все же я считаю необходимым использовать именно эту форму. Она правдивей выдуманных декораций, если вдуматься).

— Привет. Как са ва?

— Бьен. А твои как?

— Неплохо. Когда мы идем издеваться над Зенитами?

— Завтра?

— Завтра у меня встреча с одноклассниками. А послезавтра, например, я свободна.

— Ну окей. Где?

— У Новодевичьего?

— Он мрачный. Там кладбище. (Терпеть не могу.)
— Я девушка с придурью. Могу и на кладбище захотеть.
— Ладно, кладбище, так кладбище.
— А что с пленкой? Ее продают еще?
— Да, я куплю. Тебе какой-нибудь дикий слайд?
— Нет, зачем? Послезавтра в три?
— Да.
— Дакор.

3

Когда-нибудь я напишу книгу: “Почему я опаздываю: сто причин и нелепых оправданий”. Я физически не могу успевать вовремя. Что-то есть притягательное в том, чтобы пробыть лишние десять минут дома, а потом бежать, зная, что ты не успеешь. Ведь, если подумать, то вся жизнь заключается в этом нервном натяжении и чувстве вины (ага, как же). В тот раз вины я не чувствовал: приехал я вовремя, но монастырь был так плотно заставлен машинами, что негде было остановиться.

Николь ждала уже пятнадцать минут. (Николь?) Ну да, Николь. Я долго пытался подобрать ей имя получше, но у меня не выходило. Я знаю, что оно не из наших широт, да и подходит скорее стриптизерше, но что-то в этом имени есть. Николь появилась совершенно случайно, когда я уже отчаялся заменить ее настоящее имя. Она когда-то играла в одной пьеске другую Николь, француженку. Она всегда играла француженок. Пускай будет Николь. Это имя можно полюбить.

(Прошло два месяца с тех пор, как я придумал ей это глупое имя. Оно не подходит, да и я сам не буду себя за него уважать. А главное, что с этим именем нельзя представить ее. Оно съедало повествование, превращая его в дешевую драму, которую стоит чинно и размеренно читать после обеда, перелистывая страницы жирными пальцами. Я не смог написать ни строчки. Как все-таки зависит целое в моей голове даже от такой маленькой детали.)

Ольга подняла на меня глаза и пристально посмотрела. Мне стало дико неловко, я стушевался и думал, как буду извиняться. Из-за этого пауза перезатянулась. Получалось, что я совсем не собираюсь оправдываться. Вышло даже органично.

Хотя в последнее время я общался с Ольгой регулярно, да и встретились мы исключительно по делу, я все же робел. Ну то есть как по делу? Ей нужно было, чтобы я зарядил пленку в ее фотоаппарат. То есть нашел инструкцию в интернете и сделал то, что доступно абсолютно любому человеку. Наверное, это нельзя назвать встречей по делу, но это было хорошим поводом. Хотя и хорошим поводом это тоже назвать нельзя. У Ольги уже лет сто был официальный жених, у меня была Рыжая, и тут она нашла на антресолях старенький фотоаппарат. Ну чем не таинственная случайность? Мне необходимо было поверить в искренность этого повода, ведь ничто не может двигаться вперед без доли самообмана.

— Ну что, пошли? — сказал я. Ольга вынырнула из оцепенения, и мы направились к пруду. Повисла тишина. Нелепые люди проходили мимо, а мне нечего было сказать. Главное начать, а потом не останавливаться. И что за глупость, в самом деле? Ведь это все ничего не значит. Мне нечего терять. Главное начать.

— Ненавижу, когда маленькие девочки пишут клише о фотографии: “Она раздвинула диафрагму, он взвел затвор, и они погрузились в океан хорошо отэкспонированной чувствительности”, — сказал я.

— О! Ты тоже людей не любишь, — засмеялась она, — Лучше чувствительность плохо экспонировать?

— Тщательно. Поступательными движениями. Суть же не в этом.

— А в чем?

— Во взаимоотношении с объектом, я думаю. В форме. Во вложенном содержании. Уж точно не в технической характеристике.

— Расплывчато как-то. Одну небрежность меняешь на другую.

— Несомненно. Но вопрос в изначальном положении. В точке, от которой ты начинаешь работать.

— Как ты начнешь работать от формы? Или от вложенного содержания?

— Ну вот смотри: есть ты. Ты для меня, с точки зрения картинки, форма. В зависимости от того, что я захочу в тебя вложить — могут получиться абсолютно разнообразные результаты, — я увлекался, зря наверное.

— То есть я никак не влияю на результат и выйти может что угодно?

— Да нет же, у тебя другая задача: вне зависимости от содержания быть прекрасной. Как бы я тебя контекстуально не уродовал, ты должна преобладать над ситуацией.

— Я — прекрасная преобладательница? — Ольга засмеялась.

— Ну да, прекрасная. Тебе ведь это не составит никакого труда, вне зависимости от того, как я буду менять контекст.

— Один мой знакомый хотел меня снять в лохмотьях, как бомжа.

— Ну тогда ты должна быть лучшим бомжом на свете. В чуть-чуть испорченном нарядном черном платье. С вуалью. Среди какого-нибудь бардака.

— Ну какой же тогда из меня бомж?

— Прекрасный. Бомжом будешь не ты, а общий контекст. Он расскажет твою историю.

Мы прошли дальше к пруду.

— Я скоро уезжаю в отпуск, — сказала Ольга.

— Куда? — мне почему-то не хотелось, чтобы она уезжала. Хотя я и сам ехал на свадьбу.

— В Ригу. Не знаешь, что лучше родственникам подарить? Икру не предлагай. Это банально.

— Иногда банальный вариант — самый верный.

— Вот из-за таких ребят без фантазии и страдают ни в чем не повинные люди.

Я зарядил ее Зенит.

— Поехали отсюда? — спросил я.

— Куда?

— На набережную. Здесь нечего делать.

Набережная Москвы-реки была полна людьми. (Мы ведь их не любим, помните, да?) Я отошел вглубь, к парку, где было хоть чуть-чуть свободного воздуха. Белка пробежала вверх по дереву, и вокруг нее тут же собралась толпа зевак.

— Мам, смотри, мышь бежит! — закричал ребенок произвольного пола.

— Да я посмотрю, у нас сегодня день бытовой банальности в пейзаже, — заметила Ольга.

— Может больше повезет в портрете?

— Каком портрете?

— Твоем.

— Ну нет, мы же о другом договаривались, — сказала Ольга и зашагала быстрее.

— Просто так фотоаппарат зарядить?

— Ну где же тут простота?

— Сейчас найдем. Пошли ближе к морю.

— Но у океана целая толпа.

— В кадре ты будешь одна.

Теплоходы продолжали медленно ползти по речке. Ольга облокотилась о каменный парапет, напряглась, скрестила и сжала руки, натянула улыбку и стала некрасивой. В глазах у нее впервые читалась неуверенность. Главное, не начинать говорить первым. Даже щелкать для вида. Чуть-чуть помолчать и она спросит. По девчонкам часы можно сверять:

— Что мне делать? — спросила Ольга. Даже чуть быстрее, чем обычно.

— Ничего.

— В последний раз мне девочка-фотограф говорила изображать эмоцию. То есть просто взяла и сказала: “Изобрази мне эмоцию.”

— И как? Вышло?

— Ну пришлось изображать, студию же сняли.

— И как эмоция получилась?

— Никак. У меня нет чувств. Точнее, они невыразительные. Неэмоциональные. Их не видно. Пришлось открыть рот и кричать, — Ольга заметно нервничала и едва слышно хихикала.

— Хочешь покричать?

— Нет.

— Тогда расскажи мне историю. Грязную. Про слона и его хобот.

— Что?

— Начинай быстрее, — я сделал вид, что сержусь.

“Жил был слон, и у него был огромный хобот...” — посмеиваясь, начала Ольга. Она стала хорошеть. Открытый в разговоре рот мешал на снимках, но это не самая большая проблема. Если она не будет говорить — зажмется окончательно. И тогда кадры не выйдут. Большие карие глаза повеселели. “Иногда хобот висел спокойно, а иногда вдруг вздымался вверх. Вот так вот!” — Ольга уже смеялась. Давай-давай милая. Кажется, вышел кадр. Не было времени смотреть. Надо подчеркнуть ее ключицы. Хорошо бы еще грудь при этом не выбросить. “Однажды, хобот залез в такую расщелину, откуда слон его не мог никак вытянуть!” — Ольга хохотала. Родинка над губой весело прыгала по смеющемуся лицу. Я больше не считал удавшиеся кадры и снимал наобум.

— Шикарная история. А теперь пойдем вон к той стенке. Там ты мне расскажешь про пиратов и привокзальных шлюх. Придумай байку позабористей.

Я вызвался подвезти ее домой. Съемка явно удалась. Ольга не замолкала. Насколько она вообще может не замолкать. Конечно, я говорил больше. Но, кажется, на сегодня лед был разбит.

Ближе к ее дому я начал понимать, что не хватает какой-то малости. Нельзя останавливаться. Нужно продолжать. Но этим вечером придет Рыжая. Да и вообще, ведь у меня Рыжая, у нее жених. Куда мне продолжать? И что делать? Да и зачем? Разве меня что-то не устраивает? Нужно думать быстрее. Осталось совсем немного до ее подъезда.

Мы приехали к старому дому в центре Москвы. Ольга вышла, я достал ее Зенит с заднего сидения.

— Спасибо тебе за вечер, — Ольга стояла и крутила ключи вокруг пальца.

— И тебе спасибо! Развлекла.

— Ну я пойду?

Я замялся.

— Пока, — сказала она, чмокнула меня в щеку и убежала к подъезду.

— Пока, — ответил я куда-то вслед.

Я поехал домой. Какой же я все-таки дурак. Я ведь хотел. Но если это было, я ведь еще успею. Точно успею. Да и Рыжая. Я ведь правильно поступил. Правильно. Правильно? Хотя бы фотографии получились.

Не было потом дня, когда бы я не прокручивал эту встречу у себя в голове.

4

— Я подарю тебе книжку “Сто поз для моделей”! Это самое. Ну что это за банальщина? — издавала клопочущие звуки Рыжая.

— А мне нравится.

— Она, мать твою, просто стоит и ржет. Просто стоит и ржет, понимаешь?

— Ну и что в этом плохого?

— Все так делают! Понимаешь, ВСЕ! Это же неоригинально. Ты бы ее хоть из кустов сфотографировал.

— Да не хочу я из кустов — мне и так нравится.

— Да что тебе в ней может нравиться?!

— Ну форма...

— Какая нахер форма! — Рыжая упала ко мне на кровать и зарычала, — Ты ее в эту форму не

поставил!

— А мне нравится.

— А мне нет! — крикнула Рыжая.

Я замолчал. Мне было важно мнение Рыжей. Авторитет у нее был, что ли. Значит совсем все впустую. Но она не говорит, что конкретно ей не нравится, кроме позы. Если я начну прогибаться, то я ведь не узнаю, что не так. Может тут дело не в этом?

— Ну ты, это самое, не переживай. Не всегда ведь получается... — заботливо начала Рыжая.

— Но мне казалось, что в этот раз вышло... Уж точно лучше, чем, когда мы тебя в последний раз снимали, — сказал я. (Предостерегу неисклюшенного читателя — так юным девам говорить не следует никогда).

Рыжая побелела, расстроенным детским взглядом посмотрела на меня и заорала:

— Я у тебя не получилась, она не получилась... Как же ты Анжелочку снимать будешь, а?

Испохабишь человеку свадьбу?!

— Не знаю, как придется. Правда не знаю, справлюсь ли...

— Да ладно, не переживай. Я тебе книжечку с позами дам, и все выйдет, — начала успокаивать меня Рыжая, — А я потом все обработаю. Все-все обработаю, это самое, ты не переживай.

— Я не особо переживаю. Все выйдет.

— Да, конечно. Все получится.

Мы тихо лежали, я смотрел на серые стены своей комнаты. Плохо вышло — ну и ладно. Так тоже бывает. Хороши мои идиотские законы про форму и содержание. (Чего они стоят? Да ничего.) Такая же банальщина, как и кустики, из-за которых снимать надо. Рыжая начала вертеться на моем плече:

— А почему это ты на мои звонки не отвечал, когда ее снимал? Я волновалась.

5

Я люблю украинские поля. Не в смысле “закопайте меня посреди поля ржаного, пусть колоски растут из моей головы и кормят народ мой скорбезный”. Да и эстетически от них крайне мало толку (ленивый брат-хохол не потрудится для композиции посадить даже одинокое деревце). Они конечны, довольно велики, но не слишком, не напоминают мне море. Пожухлые к августу растения не вызывают трепета. Крестьян я и вовсе за людей не слишком считаю. Я люблю эти поля из окна машины, на скорости выше сотни, когда они длятся, но недолго. Я люблю, когда дед говорит про свой гектар триста, который он уже десять лет, как вот-вот возьмет себе на обработку. Я люблю их как пустое место для чего-то, что так и не будет построено.

В квартире волнами стелилось ожидание катастрофы. Отец семейства нервно проходил из одной комнаты в другую, причмокивая домашними тапками, присаживался на краешек стула, недолго задумчиво сидел, потом резко вскакивал и шел в другую комнату. Анжелочка восседала на стуле с колесиками, собранная, уже в платье, и пристально смотрела сквозь зеркало. Ее мать, уставшая и слегка заболевшая от тревоги, сидела на диване и с переживанием рассматривала дочь. Сестра бегала кругом в попытках найти, что же из тысячи деталей забыто, периодически командным тоном вскрикивая: “А вот это вот...” и замолкая. Незнакомый мне родственник Володя спал сидя на диване. А я не знал, стоит ли мне начинать фотографировать. Если бы мог, я снимал бы воздух, благо в тот день его можно было хорошо рассмотреть.

Анжелочка была младшенькой и самой человечной из нас. Ей было скучно учиться, скучно влачиться в маленьком провинциальном городишке, скучно и в Киеве. Она была живее всех остальных, в голосе всегда слышались детские нотки. Но когда я с ней говорил, ее карие глазки видели все мое дерьмо насквозь. Для меня она всегда была очень красивой, не знаю почему. (Может быть из-за своей недоступности.) Она была веселой, но закрытой, слишком закрытой, пожалуй. Я никогда не мог угадать, о чем она думает. В тот день Анжела была невестой. Как так получилось — не понимаю.

— Едут! — крикнула сестра, увидев машину во дворе.

Мать с шорохом исчезла где-то на кухне. Отец мерно стал надевать кожаные ботинки, аккуратно отставив домашние тапки. Его пальцы чуть дрожали, когда он завязывал шнурки, узел не получался, волнение усиливалось, и бантик все равно не выходил. Сестра с тройным усердием стала бегать вокруг невесты. Володя приоткрыл один глаз и, кажется, проснулся. Анжела не шевелилась и продолжала смотреть куда-то вдаль.

Квартиру заполнил гвалт народного торжества. Родственники жениха пробивались по двое и по трое в узкую дверь, захватили весь коридор. "Невесту выкупать будешь?!", "Ой, какая же она красивая!", "А шо не наливают-то?!", "Почему ты хохочешь, Эмир?", "Коня мне, коня!", "Шампанского сюда!" – раздавалось со всех сторон. Признаюсь, я в то время редко бывал на свадьбах и представлял их как нечто демоническое. "Крест целуй!", "Хлеб с солью де?", "Муська, брысь". Я без разбору отстреливался из фотоаппарата, не особо заботясь о результате. У отца семейства наконец-то получился бантик на ботинке, но его толкнул локтем очередной новый родственник, и шнурок пришлось завязывать опять.

Толпа внесла жениха с криком и вздором. Статный, военный, симпатичный, улыбчивый, слегка нервничающий. (Наверное, стоит приложить жениха хорошенько. Ну хотя бы из ревности. Пусть будет с деревянной ногой. И моноклем.) Да нет, на самом деле, он был весьма ничего. Вроде даже относительно трезв, что вызывало уважение: мало кто способен на такое в день собственной свадьбы. Он нелепо улыбался, будто слегка извиняясь. Его постоянно кто-то дергал. В руках он крепко сжимал букет из красных роз. (Какого черта у жениха букет?) Им он должен был выкупить невесту.

В кадр попал фотограф. Он был старше лет на пятнадцать, бойкий, задорный; существовал в тон толпе. (Совпадать — важная штука). Он вывел Анжелу в зал, поставил людей вокруг нее амфитеатром. Говорил ей комплименты (как это все-таки важно) и снимал. Фотограф передвигал ее как хотел: не заботясь о целостности или исконности. А толпа наблюдала, будто в этом не было ничего зазорного.

Я стоял рядом, в полном недоумении, пытаюсь поймать какой-нибудь осколок Анжелы, какую-нибудь характерность, присущую только ей. Выходила пустота. Зачем я в этом процессе? Ведь все, что получается поймать – это копия копии, след следа, отпечаток отпечатка. А я все стоял и снимал (ведь во мне нет воли).

Невеста погрузилась в лимузин, фаллический символ стабильности (какая пошлятина, оставлю, чтобы потом стыдно было). Жених и настоящий фотограф пошли за ней, а я поехал на другой машине (да я особо и не претендовал).

Мы приехали в парк. Когда-то его построил польский граф ради греческой куртизанки. А теперь всякий турист может полапать графскую мраморную Венеру за грудь. (Про Венеру потом расскажу, нечего раньше времени). Мы вошли через главные ворота (невесте и фотографам бесплатно, меня посчитали за фотографа).

А когда-то мы залезали в парк через забор, чтобы не платить копейки, которые у нас были. Анжела пацаненочком резво прыгнула вниз, а я, четырнадцатилетний увалень, упал с забора, потерял штаны в полете и выронил мою гордость, пачку сигарет, на зелень травы. В то лето я твердо решил начать курить. (Я люблю волевые решения, в противовес стадности). Моим героем был ковбой Мальборо, и я с упоением читал все рассказы про прелести утренней затяжки после невыносимого восьмичасового сна без табака. Я встал, нервно высморкался в скомканный платочек, подтянул шорты, поднял пачку, вытер руки о футболку, взял сигарету в зубы и, с третьего раза, подкурил. Мои легкие наполнились гордостью.

— Ты чего, подурел?! — возмущенно сказала Анжелочка, копируя интонацию своей старшей сестры, — Тут же наши знакомые торгуют. Увидят, учуют — как ты потом объясняться будешь? — Я уже взрослый человек, и, мне кажется, могу решать такие вопросы сам за себя, — сказал я своим едва сломавшимся голосом. Потом я протянул Анжелочке пачку, посмотрел на нее сверху вниз и гордо сказал, — Будешь?

Анжела, недолго думая, взяла сперва одну сигарету, потом другую, внимательно на них посмотрела, потом произнесла: "Мальборо", порвала их на кусочки и дождиком высыпала

табак мне на голову.

— Да что же ты делаешь? — пропищал я, пытаюсь вытряхнуть табак из своих длинных крашенных волос, — Бабушка унюхает — как я потом буду, а?!

Бабушка ничего не унюхала, но мы действительно наткнулись на знакомых торговцев сувенирами.

Свадебная процессия двигалась дальше по парку. Мы останавливались около каждой местной достопримечательности, которые фотограф смог бы найти даже во сне, и снимали жениха с невестой. Я уже не искал “осколки личности” Анжелочки, а просто механически повторял за мастером, стараясь ему не мешать. Забавно, что его монотонная уверенность, скорее всего (я так и не видел фотографий), приносила куда больше результата, чем мое нервное обдумывание. “Потрясающе красивая сегодня” — кадр — “Да Анжелочка с детства модель, у нее папа фотограф” — кадр — “Анжела, на ручку посмотри” — кадр... Жених же выступал элементом декора, на фоне которого снимали Анжелу.

(Здесь бы добавить описание Анжелочки, показать ее взросление. Рассказать про то, как она превратилась в “настоящую” женщину, не потеряв своего едва вздернутого детского носика или вставить милую грязноватость про то, как ее груди налились соком молодости. Но в этом есть какая-то неправда. На свадьбе невозможно выделить невесту, она обезличена. А ее внешность? Да какая, к черту, разница? Для меня она никогда не была важна с этой точки зрения. А если быть честным, то я не пытаюсь сделать повествование хоть сколько-нибудь объективным.)

Зачем ей понадобилось выходить замуж в девятнадцать? Что она понимает? Просто потому что скучно? Просто потому что надо как-то устроиться и чувствовать стабильность? Просто потому что позвали? Потому что так принято в маленьких городах? Почему я не могу понять стремления закрепиться и обрести уверенность? (Для меня оно инородно.) Почему я не могу признать ее право на это? Или я ревную ее к жениху? В самом деле, это смешно, ведь мне есть, чем заняться (сегодня вечером напишет Ольга). Почему выбор Анжелы меня так задает? Свадьба отмечалась на конезаводе, гордости всей округи. Поговаривали, что даже дочка премьер-министра проживает здесь полгода в год, готовясь к международным соревнованиям по верховой езде. Кони были хороши: породистые, со здоровыми зубами, пышными гривами и зазывающим взглядом. (Хорош заливать, ты ведь ничего не знаешь про коней).

Банкет был грандиозен: огромный зал, длиннющие столы, вышиванки, караваи, десять смен блюд, все как положено. И хоть я довольно равнодушно отношусь к подобным мероприятиям, неверным было бы не указать на размах свадьбы.

— Антош, садись покушай, а то забегался уже с этим фотоаппаратом, — крикнул очередной родственник. Тут я, наконец, до конца осознал всю бесполезность своего никчемного увлечения и сел за стол.

Рядом со мной сидел родственник Володя, муж Анжелочкиной сестры. (Я не знаю как описывать человека во всех отношениях нормального. В обычных людях достаточно найти какой-нибудь маленький изъян, чтобы получился портрет. Или наоборот какую-нибудь миленькую, присущую только ему черту, которая заставит дамочек умиляться. Володя же никак не подходит на характерную роль второго плана, он был в полной мере персонажем). Директор медицинской фирмы в Киеве, со всех сторон амбициозный молодой человек. Единственное, что смущало в Володе — по слухам, он был женат в третий раз, а ведь ему не было еще и тридцати. (Забавно, насколько социальное клеймо может предопределить отношение к человеку).

— Антон, садись, отдохни пока, — сказал мне Володя и налил коньяка.

— Нет, все-таки мне еще снимать нужно. У меня ведь какая-никакая ответственность.

— Рюмка никак не повредит твоей ответственности. Давай, за то, чтобы у молодых все гладко было!

Я решил, что рюмка и впрямь повредить не может, да и к тому же уберет дрожь пальцев, станет своеобразным стабилизатором фотоаппарата. Мы выпили. Метаморфозы не наступило.

— Давай еще, — сказал я. Мы выпили еще, — Володь, а у тебя есть мечта? У каждого человека должна быть мечта.

— Уже приехал? — с недоумением и даже некоторой оскорбленностью сказал Володя.

— Нет, я просто хочу пачку Мальборо. Уже лет пять, как бросил курить.

— И я не курю. Пошли?

Мы прошли через зал, где Анжелочка с мужем кружились в первом танце, пока все гости уминали третью смену блюд, с умилением обсуждая фасон свадебного платья. Фотограф суетился вокруг, придумывал, куда положить вспышку, призывал Анжелочку “ненамеренно” на него посмотреть. Я, наверное, должен был делать то же. Впрочем, ладно. Анжелочка никуда со своей свадьбы не убежит, я уверен.

Мальборо в баре не было. Но когда ты пьян, переборчивость куда-то уходит. Первая затяжка за долгое время освобождает твои легкие, скованные воздержанием, прокатывается по всему телу вниз, отдаваясь дрожью в ногах. Дарит мимолетное чувство свободы. Дальше курение превращается в привычку, в пошлость, в слабость. Но за первую затяжку стоит с легкостью отдать пару лет жизни.

— Ты куда высунулся? Тут же наша свадьба ходит. Зайди за угол, — прошипел Володя, спрятав сигарету за ногой.

— Да я уже взрослый человек, понимаешь, и могу...

— Ты хочешь, чтобы мою жену и твою бабушку коллективный инфаркт схватил?

В этот раз я решил, что лучше будет послушаться.

— Антон, ты ведь у нас писатель?

— Я так, хер знает что.

— А знаешь, что нужно настоящему писателю?

— Стилистика? — я правда не понимал, к чему он ведет.

— Опыт, опыт нужен.

— Так опыт, он на то и опыт, что достается довольно пассивно-насильственным образом.

— Ну нет, есть опыт, который ты можешь получить своими активными действиями. Это опыт с женщинами. Ведь они... Они прекрасны. Они отдают, понимаешь? Вот например, ты сейчас, на свадьбе, куда рот разеваешь? Видел, как та, жопастьенькая, в синем платьице на тебя смотрит? Чего ты ждешь?

— Володь, но у меня девушка есть. Да и вообще это как-то... — Надо сказать, что я действительно попадал в Володино поле изменения реальности. На каком-то животном уровне то, что он говорил, мне казалось вполне логичным.

— Так никто тебя не заставляет с ними спать! Женщины отдают энергию и так. Даже общения хватает. А ты должен получать, чтобы написать что-нибудь стоящее.

— Хорошо, что мне делать?

— Смотри. У меня некий опыт есть, я поделюсь. Во многом на характер влияет физическое строение человека. Как врач тебе говорю. Сисястьенькие они хохотушки, им нужно много и не очень важно, какого качества. А жопастьенькие, наоборот, более закрытые, переборчивые. То есть с голубенькой юбочкой у нас небольшие проблемы. Но это ничего страшного, я помогу, а ты уже дальше действуй по обстоятельствам. Единственное, этот типаж любит мало, но долго. Но у меня есть средство — прекрасная таблетка. Абсолютно безвредная. Ты молодой, она тебе и не нужна особо. Ну разве что так, для уверенности.

— Володь, спасибо конечно...

— Бери и не думай. Она абсолютно безвредная. Если переживаешь, что резко подействует — не переживай, дозировочка маленькая, пока момент не подойдет, ты даже не почувствуешь. Я взял таблетку и положил ее в карман поглубже. Признаюсь, меня слегка пугала эта беседа, но она вполне попадала в категорию пассивно-насильственного опыта, вела к приключениям, а значит имела пользу.

Жопастьенькой в синем платьице на месте не оказалось. Это было очень некстати: Володя

пробудил во мне жажду приключений. Бесы рвались наружу, а телефон чирикал от бесконечных сообщений Рыжей.

— Володь, давай еще по три, и я пойду искать принцессу.

Фотоаппарат бился о ребра. Месиво из людей. Красивые, в общем-то, люди. Музыка отвратительная, ноги несут и ладно. Я снимал очередями (не соображал палец с кнопки убрать). Правда красиво выходили, но какие-то все одинаковые. Анжелочка, солнышко, как-то слишком нормально танцевала. Странно. Кажется, мелькнула синяя юбка. Да, этот зад действительно ни с чем не спутаешь. Так, как там? Таблетка? Ну нафиг. Надо просто сфотографировать этот прекрасный зад. Ведь фотография — это запечатленное на век воспоминание. Только нужен ракурс снизу, так форма лучше выйдет. Черт, опять улизнула. Поражает непоследовательность этих женщин. Кажется, я поймал подвязку. Забавно.

На кресле в банкетном зале одиноко сидела девочка в белом платье. Она, скучая, смотрела в окно. Одной рукой она поправляла митенку на другой. Зеленый витражный свет падал на ее волосы сзади. Я сделал единственный приличный кадр за день.

Володя отсел ближе к краю стола. Он пил в одиночестве, насколько это вообще возможно на свадьбе.

— Володь, ты чего один? Мне налей хотя бы.

— Моя дочь называет меня Володей. Да я и не против: Володя, так Володя. Теперь ее и вовсе отпускать перестали. А я ведь старался. Ради нее. Готов был ее мать терпеть, сколько угодно. Но они сами... А я ничего не могу сделать. Володя, ха. Володя...

— Хреново. Может еще выпей?

— Володя...

Гости собрались перед автобусом, который должен был отвести их обратно в город.

Анжелочка стояла на газоне, приподняв свое белое платье над свежескошенной травой. Ее глаза растерянно сверкали в темноте.

По дороге обратно фотограф, сидя на заднем сидении автобуса, громко рассказывал про свой богатый улов какому-то гостю. Я уткнулся носом в стекло. Перед глазами проносились темные, едва заметные, поля и дорожные знаки, подсвеченные фарами автобуса. Володя лежал на коленях своей жены и смотрел в потолок.

В кровати меня ждала Ольга. Планшет с ней был холоден на ощупь. Она уже неделю в Латвии.

— Как свадьба? Снял что-нибудь?

— Не думаю. Мне очень хотелось украсть невесту.

— И что с ней после этого делать?

— Угнать машину и уехать из Латвии куда-нибудь.

— Так ты меня собрался выкрасть или ее?

— Я пока не решил.

— И что ты будешь с украденной делать?

— Увезу куда-нибудь на запад. Будем снимать эротику в Париже, я думаю.

— Подожди, я еще не давала на такое согласия.

— Могу, при встрече, встать на колени, пристально посмотреть в глаза и наговорить каких-нибудь слов.

— Этого только еще не хватало.

— А куда бы ты хотела уехать?

— Ты же знаешь, куда.

— Там много арабов, снобов и дорогого. Так ты согласна?

— Может быть.

— Видал, какой у нее прыщина на лбу?! Эцсамое, он же как пол-Европы. На каждой фотографии! Сколько работы! Сколько работы! — причитала Рыжая.

Ах да, чуть не забыл. Мы сидели в киевской кофейне. Рыжая наконец нашла формулу правильного течения времени: она взяла отпуск на два дня, за ночь приехала на поезде в Киев (к утру я тоже был в Киеве), дальше (через три часа) мы должны были сесть на автобус в Одессу, там (ночью) помочить ноги в “морьке” (как жалко, что сфотографировать не удастся), с утра фотография на фоне этой самой лестницы (Броненосец Потемкин, Эйзенштейн, колясочка), далее на маршрутку в мой город, там три часа на встречу со всеми родственниками и обратно в Москву ночным поездом. Здорово придумала, да?!

— Погоди, дорогая, но ведь у тебя после этого еще два выходных!

— Да как ты не понимаешь?! Я ведь обещала встретиться с Евой в субботу!

— Может ты встретишься с Евой попозже?

— Почему же ты меня не понимаешь, — рычала Рыжая, — Ева, эцсамое, едет в Индонезию. Представляешь, там можно провести месяц на пляжике за тысячу долларов. Правда лететь туда три дня, с пересадками. Но ты можешь себе представить, как это здорово? На другом конце Земли за тысячу долларов в месяц!

В этот момент я стал подсчитывать, почему у меня нет тысячи долларов. Несмотря на то, что я хорошо относился к Рыжей, мысль двинуться в противоположном направлении от моей цели и застрять на острове с источником бесконечных перемещений, меня пугала. Я не писал Ольге уже двенадцать часов. Интересно, как она там? Если я встану, отлучусь и напишу ей сообщение, будет ли от этого толк? Сразу она мне не ответит. Я вернусь к Рыжей, буду сидеть и ждать ответа. Но проверить есть ответ или нет — я не смогу, не вызвав подозрения, чем усугублю свою пытку.

Вероятно, я веду себя крайне неправильно, некорректно. Строю себе воздушный замок и на что-то рассчитываю. Как барышня, в самом деле. Ведь я не знаю, чего хочу. Она маячит деталями своего образа и тянет-тянет-тянет. Я рассказывал, что видел ее детскую фотографию? Какой волшебный ребенок, с родинкой над губой и грустными глазами. Стоит рядом с подружкой и смотрит тебе прямо в душу. Еще я читал ее детский дневник (нашел в интернете). Она так откровенна в своей замкнутости, боится окружающего мира и не понимает своей силы над ним. Как же она похожа. Да, именно похожа, она облекла свое мироощущение в слова, которые дрожью узнавания ходят по мне.

— Нет, это все-таки хорошо, что Анжелочка вышла замуж. Да и фотографии ничего так, ну ты понял. Маловато, но я думаю, что хватит, — размышляла Рыжая, — Мне кажется, у нас с тобой мало своих фотографий. Тем более мы же в Киеве, и я просто обязана сфотографировать тебя у Памятника (Как вы уже понимаете, какой был Памятник — это не столь важно. Майдан ли, Лавра ли, Дом ли с химерами. Вы можете выбрать любое произвольное место, с которым у вас ассоциируется Киев и представить, что фотографии были именно на фоне него). Я терпеть не могу фотографии, на которых изображен я. Дело, наверное, в каких-то внутренних комплексах. Или в том, что я знаю все свои недостатки и их вижу. У Рыжей я получался весьма недурно. Наверное, она все-таки видела что-то во мне, чего не видел я. Последнюю она сделала на телефон и выложила к себе на страничку.

В дневнике Ольги за следующие пару дней появились записи:

“Больше всего ненавижу, когда игнорируют мои сообщения.”

“Зачем они меня добиваются, когда сами почти что женаты? На что они рассчитывают?”

“Да и что вообще есть пространство, если не отсутствие в каждой точке тела?”

На третий день я не выдержал:

— Что случилось?

— Печаль. Да ничего, правда. Мерихлюндия.

— Она чем-то спровоцирована?

— Я просто устала. Правда.

— А меня паранойя накрыла, что это из-за меня.

— С чего это?

— Но я ведь центр Вселенной, все что в ней не происходит — на мой счет.

— Какая распространенная патология. Мой дневник для тебя так важен?

— Если бы мне был важен дневник — это точно была бы патология. Ты мне важна.

— Даже не знаю, хорошо это или плохо.

— По-моему, это со всех сторон плохо: это мешает нормально функционировать. Только думаешь-думаешь-думаешь и ничего больше.

— Действительно не очень. Теперь ты можешь думать, что там было что-то про тебя.

— Так было?

7

У Саши ебанутые глаза. Двухцветные: карий слезой протекал на зелени радужки правого глаза и медленно стекал по мраморной щеке, чтобы упасть на потрепанный воротник из меха. Естественная тонкость стана выливалась в удобу, неподвластную времени. Кожаный ремень жестко опоясывал ее, подчеркивая тонкую талию. Я никогда не видел женщины прекраснее, которая бы не имела малейшей толики понятия о своей красоте.

Я никогда заранее не говорил Рыжей, что иду снимать Сашу. Это вызывало самые яркие вспышки ревности. Рыжая рассказывала, что видела она эту Сашу, и что она не такая уж и красивая. И абсолютно точно ни разу не высокая, ни чуть не выше Рыжей (всего на полголовы). И вообще она просто высокомерная, а не умная, как принято считать. К тому же, что, у меня дел нет что ли? Да и Рыжая собиралась зайти сегодня вечером, ведь именно в этот день полгода назад я сделал что-то невероятное. И вообще, Рыжая крайне довольна, что я выбрал ее, а не соперницу (будто я правда выбирал). Саша же, в свою очередь, каждый раз интересовалась, как поживает Рыжая, которая ей так понравилась при встрече.

Саша запрыгнула на балюстраду и замерла. За ней стояли статуи римских богов, впереди расстился сад с рекой. Все застыло, только ее воротник из меха шевелился на легком ветру. (Здесь бы ей сказать что-нибудь достойное Венеры. Или воспарить над садом, будто ей это ничего не стоит. Или выпить из фляжки амброзию: смесь водки и собственной крови. Но нам пора возвращаться к реализму, слегка запыленному как Сашин воротник из меха.)

Саша просто молча стояла, поймав последний закатный луч у себя на носу. Когда солнце окончательно пропало, она дергано и как-то неуклюже слезла с парапета.

— Знаешь, что мой вычудил? На прошлой неделе пошутил, чтобы я проверилась на венерические заболевания. Раз пять сказал, что пошутил. Но я все равно проверилась, — разорвала тишину Саша.

— И как результаты?

— Да это не так важно, он же пошутил. А я дура не сдержалась и пошла проверяться, — как о радостном открытии говорила Саша.

— Но как ты можешь быть уверена?

— Да кто на него позарится? Низенький еврей-наркоман с маленьким членом. Я ему и сама сказала, что у него маленький член, после того, как проверилась.

— А тебе он зачем?

— Мне его жалко. Ты понимаешь, он скоро совсем снюхается.

— А ты тут причем?

— Как причем? Мне его жалко. Я чувствую ответственность.

— Какая у тебя ответственность за взрослого мужика?! — я не знаю, зачем я продолжал этот

разговор. Когда я хочу угодить женщине, я инстинктивно начинаю задавать сопровождающие вопросы, чтобы она могла поговорить. В этом есть какой-то элемент мазохизма — ведь с такой тактикой женщины действительно начинают говорить, причем вовсе не то, что мне хотелось бы услышать. Казалось бы, мне вовсе нет дела до Саши, ведь у меня есть Рыжая (прямо мантра какая-то в последнее время), но меня всегда безумно бесило слушать про чужих мужиков. Моя самооценка от этого падала до нуля, а сам я превращался в подобие грязной тряпки для дамских соплей. Но мысль о том, что даже тряпка находится рядом с девичьим носиком, заставляла меня поддакивать и уточнять дальше.

— Как какая? Я ведь его люблю. Ах, глупый, ты ведь ни черта не понимаешь про любовь. Это чувство, оно порабощает тебя. Да, я чувствую ответственность. Почему бы и нет? Он ведь меня тоже любит. Точно тебе говорю. Выражает, это как-то странно: вот на прошлой неделе он выкинул мои вещи в мусорное ведро.

— И как ты на это отреагировала?

— Ну как? Я ведь сама виновата. Я недостаточно учтиво говорила с его друзьями. Да и вообще, мы живем у него дома, а я не готовлю. Вот не понимаю людей, которые упиваются своим бытом, правда. Она гладит штанишки, а потом они вместе под пледиком смотрят телевизор. Блевать тянет. Мы не такие. Я так не смогу.

Мы перепрыгнули по камням маленький, но очень темный ручеек. Я спросил:

— А то, что происходит — это нормально?

— В смысле? Конечно, нормально. Ведь это мои с ним отношения, и я его люблю. Да и вообще зачем ты лезешь? Живу как хочу. Это все вообще в рамках нормы. Вот у меня знакомый выложил недавно себе на страничку фотографию своей девушки с раздвинутыми ногами, во время месячных. Хочешь покажу? — Саша с оживлением достала телефон и показала картинку, на которой лежала помятая жизнью девочка с раздвинутыми ногами. Ее лицо выражало смесь стыда, страха и странноватого удовлетворения.

— Это нормально? Это нормально... по отношению к ней? — не знаю, что заставляло меня говорить дальше. Мне всегда хотелось починить Сашу, вправить ей мозг. Тоже своего рода агрессия. В своем стремлении я приближался к верующим, желающим огнем и мечом привести всех остальных в свой рай. Для чего? Зачем? Но попытка вытянуть ее из замкнутого круга созависимости, доставляла мне удовольствие садиста. Она это чувствовала и подначивала еще больше.

— Да, это нормально. Это ведь любовь. Да, они странные, но они всегда были странными. И она с ним давно. Если бы ее что-то не устраивало — она бы осталась? Нет, давно ушла бы.

— Ведь это насилие над ней — она не может отказаться, потому что он имеет над ней эмоциональную власть. Но ты же видишь, ей стыдно и неловко. И она не может из этого вырваться. Как ты можешь этого не понимать?

— Ей это нравится, как ты можешь этого не понимать? — Саша избитой сукой глянула на меня исподлобья, — Она же осознавала, на что идет. Он всегда таким был. Как-то раз собственное дерьмо в кастрюльке варил. Ха! Она же не против.

— Человек попавший внутрь такого рода отношений, может не осознавать, что с ним происходит. Это не значит, что ему хорошо.

— А ты такой, во всем белом, стоящий снаружи, очень хорошо осознаешь, что происходит внутри? — в темноте парка Сашины глаза буквально сверкали от бессильной ярости. Это было самое решительное изменение в ее облике, которое я наблюдал за годы знакомства: от привычной вялости не осталось и следа. Я понимал, что если ударю ее посильнее, то, возможно, обрету над ней власть. (Хорошенькое понимание. Чего же ты не ударил?)

— Саш, хоть ты и хохлушка, но при этом просто апофеоз русской бабы, — засмеялся я.

— Так меня еще никто не оскорблял, — улыбнулась Саша.

Мы шли по темной аллее. Осенние листья, облитые дождем, превращались под ногами в желтую субстанцию непонятного толка.

— Как там Рыжая? — спросила Саша. Она всегда прерывала неловкие паузы этим вопросом.

— Не знаю, Саш. Так себе. Как-то не сходится, — я думал, что наигрываю, но эта мысль

затягивала меня дальше и дальше, — Все вроде и есть, но как-то не так. Не так, как хочется? Не знаю. Меня в последнее время все очень напрягает. Она постоянно звонит и звонит, а я не хочу с ней говорить. Она приходит, спит спокойно, а я не могу заснуть. Все хожу кругами в соседней комнате и думаю, думаю...

— Ой это все осеннее. Ты не переживай. Стерпится, слюбится.

Я отвез Сашу домой. Мне было ее слегка жаль.

8

У меня возник вопрос: насколько вообще имеет смысл мое повествование. Не важно, не ново, а именно имеет смысл. Оно напроць вторично, что-то я спер из "Венеры в мехах", что-то из "Анны Карениной", надеюсь, что не выкинул и Кафку. Где я в повествовании? В пересечении всего? Наивно было бы предположить. Тогда я, как маленькая девочка, которая на вопрос "расскажи про себя" включает песенку, которая нравится миллиону маленьких девочек. Разве что-то изменится, если она включит не одну песенку, а две или три? Это меня определит? Это сделает меня хоть сколько-нибудь значимым? Сделает меня достойным внимания? Вернет мне что-нибудь? Вряд ли. Или я должен усреднить мнение миллиона маленьких девочек и найти этому приличную форму? Тогда чем же я лучше моей серой стены? Она так же нейтральна. Да и тематика? Я сам не перевариваю романтические штампы, истертые временем в пошлоту. Я ведь знаю начало и предполагаю конец. И мне все это не нравится. Не нравится как персонажу, не нравится как автору. Хотя... Я упиваюсь своей печалью как человек. Мне приятно написать, какие они все не такие и какой я, бедненький. Я даже не скрываю, что я – это я, чтобы вы влезли в мою шкурку и чтобы вас это так же все било, как и меня. Получается, что это своеобразная месть. Да, месть среде. (Да, вы всего-то среда, а я начало и я конец.) И уж я-то потяну вам жилы перед тем, как все кончится!

А в чем виновата среда? Ведь она такая же, как и я.

Возможно ли обойтись без насилия? Очевидно, что нет, ведь текст, вне зависимости от его качества, требует вашего времени и внимания и так или иначе, пытается влиять на ваше восприятие. Что и являет собой насилие.

Но что делает меня достойным издеваться над вами?

9

Сцена скрипела под ногами. (Кажется, я собрал в себе все клише времени: фотограф и актер, который марает бумагу). Конечно, я не актер. Я жалкий студент, который проводит досуг в театральной студии. Но я стоял на сцене. Напротив меня Ольга (помните, я говорил, что она играет?). Ставили "Игрока" Достоевского. У меня главная роль. И у нее тоже главная роль. (Иронично.) Я никогда не хотел быть героем. Они тупые, одномерные. Созданы только для того, чтобы публике было с кем себя отождествлять. (Вы ведь без этого не можете, да?) Каким образом мне дали главную роль – я не знаю. Я ведь совершенно не подхожу для того, чтобы вы примеряли меня на себя. Я должен стоять где-нибудь в стороне и подглядывать за вами. Изображать ваши уродства, ваш комизм, не больше.

Я довольно равнодушен к аплодисментам. Это не значит, что вы не должны хлопать.

(Хлопайте-хлопайте). Вот теперь я могу сказать, что мне абсолютно плевать.

Я не знаю откуда берется мой текст, но тогда было проще: я говорил чужие слова. Они резали мне слух своей инородностью. Следует сделать их своими. Хотя где найти себя в старом русском шовинисте, который прикрывал за мной, мальчиком, свою любовь к вздорной девочке? Я ведь не такой, я стою здесь один (пока вы все пялитесь) и говорю эти слова от себя. И в этих словах я не отделяю себя, автора (дважды), мальчика на сцене, унылого Алексея Ивановича, который упустил свое счастье и стороннего наблюдателя. Мне кажется, что так честнее. Я все еще верю, что нужно нырять со Шлангенберга, модного пуанта, головой вниз и закрыв оба глаза.

Я уже говорил, что я не актер: моя техника страдает (я съедаю половину слов), мне жутко некомфортно, когда смотрят (не смотрите). Я нервничаю, но боюсь это показать. (А вы все смотрите, из зала, я вижу ваши глаза, зияющие той же пустотой, что и моя главная роль). Пока я говорил свой монолог, Ольга смотрела в зал (чертова условность, попробовала бы она не отреагировать в настоящей жизни). Интересно, она слушала? От многократного повторения слова стираются, и ты просто следишь или проговариваешь их про себя, не обращая внимания на суть. В такие моменты, я всегда старался превзойти бессилие и рассказать ей про любовь Алексея Ивановича: зацепить взглядом, заставить отреагировать, дрогнуть. (Я никогда не делал этого для зала, мне не был важен зритель.) Но каждый раз, когда она так вздрагивала, я понимал, что в следующий раз мне не получится ее задеть в этом же фрагменте: она закрывала свою первичную эмоцию толстым слоем напускного безразличия. Я не сказал, что это всего лишь репетиция (до премьеры еще полгода). Я запнулся. Поток отработанного текста прервался. В голове было пусто: ни словечка, ни способа выкрутиться. Ком стал поперек горла. Зал осуждающе пялился (состоящий только из других таких же полуактеров; это еще хуже). Ольга перестала играть и смотрела на меня с легкой презрительной жалостью. Режиссер поднялся:

— Текст! У кого-нибудь есть текст?!

— Я вспомню, — промямлил я, голос скрипел в моем горле.

— Так, — режиссер посмотрел в текст, — “За что и как...”

Я сел на стул, собрался с духом. Разговоры в зале остановились, все смотрели на меня.

— За что и как я вас...

— Громче! — крикнул режиссер.

— За что и как я вас люблю... — из-за рези в горле слезились глаза.

— Громче!

— За что и как я вас люблю — не знаю.

10

Каждый серый день начинается одинаково: я жду, пока она проснется. Рыжая обычно уходит в восемь, и у меня есть целый час, чтобы пожелать Ольге доброго утра. Иногда я ревную, не пишу и жду почти до обеда. (Представляете, порой она пишет сама.) Главное, придумать с чего начать — это самое сложное. С ней не бывает обычных бесед. Все они — соревнование в бытовом остроумии, поиск оксюморона. Это непреодолимо затягивает.

Я еще никогда так исправно не ходил на репетиции. Отчасти это способ ненадолго сбежать от бесконечных звонков Рыжей (она все время пишет и пишет). Иногда приходит Ольга. Она не садится рядом (а я не подсаживаюсь к ней). Все беседы обрываются панической неловкостью, комом в горле. Все же в жизни нет магии печатного текста, который можно обдумать и красиво вывернуть наизнанку. Но каждый раз, когда я делаю что-нибудь не так, заговариваю с кем-то не тем или выдаю какую-то глупость, Ольга смотрит на меня, будто я опозорил лично ее (как на собственность), потом сдерживает себя, переключает внимание на что-нибудь другое и отворачивается.

Каждый раз я гоняю текст Алексея Ивановича, втайне надеясь на хэппи энд, на осознание главным героем переломного момента в четырнадцатой главе. Свое желание хорошего конца я прикрываю “глубоким пониманием литературы”: рассказываю, что в этой части происходит моральный выбор героя, сбитый неверным пониманием ситуации и причинно-следственных связей. (Будто у него правда есть какой-то выбор или переломный момент.)

Каждый вечер по дороге домой я придумываю признания в любви к Ольге. Постоянно получается каша из монолога Достоевского про рабство и своих истерических мыслей. (Присосался как к писателю, а.) При этом мне кажется, что мой монолог обладает искренностью и оригинальностью. Я осознаю, откуда краду половину текста, но все равно думаю, что он мой. Я никогда не произносил ни один из вариантов моей речи Ольге, да и не запоминал я эти варианты. Где-то в глубине души у меня сидело осознание того, как это все

пошло и вторично.

Рыжая, кажется, заснула. Она спит крепко, как ребенок: пашет круглосуточно, не чета мне. Главное, не разбудить, когда перелезаешь через нее (я всегда сплю около своей серой стены), иначе придется придумывать оправдания, а я ненавижу врать (недосказанность хуже).

В соседней комнате я зажег свет и начал ходить взад-вперед. (Я не могу с ней уснуть.) Она приходит часто (слишком часто), каждый второй вечер. И звонит, звонит, звонит. Мне кажется, что Рыжая хочет залезть в мои мысли, я их прячу, а из-за этого она лезет все больше и больше. И только когда она засыпает, я могу побыть один.

Такими вечерами я не пишу Ольге. Так я просижу в соседней комнате всю ночь, а при бесцельном хождении из угла в угол, у меня еще есть шанс себя измотать и уснуть.

Мне стыдно перед Рыжей (я все время чувствую себя виноватым), хоть я ничего и не совершаю. За что мне стыдно? За то, что она лежит одна, а я ей чем-то обязан. (Чем я ей обязан?) Она меня любит. (А я ее?) Наверное, я тоже. Иначе было бы проще. Должен ведь любить, как же по-другому? (Я осознавал, что вру себе. И вновь начинал ходить по комнате. Истерично, туда-сюда.)

Но Рыжая даже не чувствует, что мешает. Понимает, что я не с ней, и все равно держит, как бульдог, за глотку. Это ее любовь? Она задушит. (Почему я имею право на то, чтобы меня не задушили?) Ха, да на что я вообще имею право? Почему мои мечты более ценные, чем планы Рыжей?

А Ольга? Хороша. Я прямо вижу картинку. Очередной вечер. Я пишу ей какую-нибудь глупость (можно ли каждый вечер говорить умные вещи?). Она читает, улыбается, пишет ответ, пока ее жених целует ей внутреннюю сторону бедра и выше, выше. Я получаю сообщение и радуюсь, как ребенок. Она ответила мне, посмеялась над моей нелепой шуткой. (Разве не счастье, а?) Самое смешное — я ее толком не знаю. Вся она — форма, набор сообщений, обрывки каких-то текстов и мое ощущение востребованности. Которые складываются в моей голове в образ. А что он имеет общего с реальностью? Из-за обрывочности информации, я сам дорисовываю недостающие фрагменты в меру своей фантазии, в меру своей мечты о счастливом конце. Насколько она существует на самом деле? Впрочем, какая к черту разница? Она ли, светлый образ ли, но я ее люблю. Вместе с женихом, целующим ей ногу, вместе с Рыжей, которая спит в соседней комнате. Мне нет никакого дела до реальности: осознание приносит исключительно боль и никак не упрощает ситуации.

— Чувствую себя тинейджером.

— Страдаешь?

— Чуть было Полозкову читать не начала.

— Настолько все плохо?

— Спешу заверить, центр Вселенной, в Вашем лице, решительно не при чем.

— И у меня все грустно. Логически задача решенная, теперь надо как пластырь, оторвать резким движением.

— С хорошим клеем пластырь?

— Да просто "Момент". Я не уверен, стоит ли. Вдруг потеряю что-то ценное. А свежего воздуха упорно не хватает.

— Как знакомо. Пока не уверен, потом уверенность придет, а пластырь начнет вращаться.

— Он уже врос.

— Рви. С кожей. Да и кто тебе это говорит? Та, что еще хуже.

— Врос до костей?

— Вроде того.

— Пора грызть ногу и бежать?

— Куда без ноги бежать?

— Куда получится. Ноги отрастают.

— Не знаю. Спокойной ночи.

— Пошли, — Рыжая вытащила меня из-за стола уставленного мисками с полусъеденным салатом. В телевизоре пели бесталанные люди.

На улице воняло фейерверками, а пьяные чему-то безмерно радовались, будто год назад было что-то иначе или через год будет по-другому. В голове было безмерно пусто, только порой взрывы салютов заставляли резонировать стенки черепа.

— Мне надо тебе кое-что показать, — сказала Рыжая. Мне было все равно, я тряпичной куклой плелся за ней дальше.

Еще один салют расцвел красной розой. Примитивно, глупо, затягивает. Мы шли мимо забора. Будто правда что-то важное бывает в Новый Год.

Мы зашли в подъезд Рыжей. Наверное, это странно, но я никогда не провожал ее дальше подъезда. Она не приглашала, да и мне не было интересно. На меня наводили оторопь ее рассказы про родственников. (Отец ничтожество, а мать спит с соседом по лестничной клетке. Даже скучно такое писать.)

— Дурно! — Рыжую тошнило на пол лифта.

— Ну что же ты так? Это как-то неловко. Потерпела бы чуть-чуть, — почему-то факт, что ей плохо, вызывал у меня только брезгливость и раздражение.

— Эцсамое, поддержи лифт, — Рыжая сходила, принесла грязную тряпку и стала вытирать пол в лифте.

Мы прошли в коридор. На полу был изношенный советский паркет, в котором не хватало некоторых досочек.

— Не зажигай свет; и тихо, все спят, — сказала Рыжая.

— Так Новый Год же.

— Так эцсамое, мои родственники — не самые умные или интересные люди.

Из темной кухни аккуратненько, бочком вышел мужичок лет под пятьдесят, с животом. Он увидел меня и слегка дернулся.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте. С Новым Годом, — тихонечко, явно боясь кого-то потревожить, сказал мужичок, — С Новым Годом, доченька.

— С Новым Годом, а теперь отстань.

— Пойдемте посидим на кухне. Я фруктов купил.

— Да отстань, говорю тебе, — прорычала Рыжая и потянула меня за руку, — Пошли, пошли, пошли. Не стой.

Мы вошли в комнату Рыжей, она плотно закрыла дверь.

— Он пьяный?

— Какой он пьяный? Это ничтожество даже пить начать не может. Морочится по какой-то своей фигне все время, — Рыжая осмотрелась, потом с надеждой посмотрела мне в глаза, — Ну, эцсамое, как тебе? Видишь изменения?

— Так я здесь в первый раз.

— Надо же. Ну ты это, посмотри, я окно поменяла и мне обои переклеили. Осталось только выкинуть вонючий паркет и все. Здорово, а?

Комната Рыжей была крайне неудобной при всех попытках изобразить уют: мебель жалась по стенам, на которых хозяйка развесила рамочки с фотографиями (была и моя). Половина пространства была не занята (мать орала, чтобы Рыжая обязательно оставила раскладное кресло на случай, если она не захочет спать в одной комнате с ничтожеством). В углу, у окна, ютилась маленькая и хлипкая кровать Рыжей.

— Да здорово. Уютно здесь у тебя.

Рыжая улыбнулась и упала на кровать, отчего та скрипнула. Она лежала так пару минут, потом вдруг резко встрепенулась, села и нахмурилась:

— Нам нужно поговорить.

— Говори.

— Ты меня любишь?
— Да, конечно.
— Точно, любишь. А будущее ты видишь?
— Рыжая, я ведь не гадалка, какое будущее? — рассмеялся я.
— Ну не сейчас, лет через десять. Мы же поженимся и заведем детей?
Она ждала ответа, а я изо всех сил молчал.
— Скажи же что-нибудь.
— Нет, я не хочу жениться.
— Ну не сейчас, лет через десять, понимаешь? — Рыжая начала плакать.
Я молчал.

Она была ужасно некрасивой, когда плакала. Лицо ее скривилось в гримасу, стали отчетливо видны мешки под глазами, вздымавшиеся плечи подчеркивали сутулость, а красноватые волосы нездорово блестели. Она была замотавшейся, уставшей. Надоевшей. И по большому счету, чужой.

— Я ведь знаю, что-то не так. Я чувствую. Это все моя депрессия, я исправлюсь. Я к врачу пойду, обещаю. И все будет хорошо, как летом было хорошо. Эцсамое, я сильная. Я справлюсь. Точно справлюсь. Обещаю тебе. Я уже две недели таблетки пью. А ты даже не заметил. Но все будет хорошо.

Я гладил Рыжую по голове и не знал, куда деться, а она продолжала рыдать.

— Ты только меня не жалеи. Ты понял, не жалеи? Не надо оставаться просто потому, что меня жалеешь. Я ведь сильная, я справлюсь. Ты ведь меня любишь? Да, любишь. Не надо со мной из жалости или из-за секса. Ты понял? Но ты ведь меня любишь.

Рыжая сбивчиво повторяла все эти фразы до самого утра. Потом она слегка успокоилась.

— Ладно. Ты меня любишь — значит все нормально. Но эцсамое я хочу, чтобы ты подумал, надо тебе все это или нет. А я пока полечусь. Но я жду твоего ответа через два, нет, через три дня.

Я вышел от Рыжей. Светало. От праздновавших остались только разбитые бутылки. Вдалеке выла собака. Я вдохнул морозный воздух. Я был свободен.

Дома я водил рукой по своей серой стене. Маленькие квадратики на ней вырисовывались в причудливый рисунок. Какой же я дурак. Как я мог жалеть себя или свой смешной порядочек в голове? Ведь, есть что-то больше меня и я могу стать частью этого. Зачем мне бытовые категории? Есть что-то большее. И я часть этого.

Конец первой части

Приложения

Письмо Рыжей (7 января)

Привет, дорогой Антон! Пишу тебе письмо, хоть это скорее по твоей части.

Неделя прошла с момента моего срыва. Но я пишу не для того, чтобы рассказать тебе хронику событий прошедшей недели, а чтобы сказать спасибо. Спасибо за: заботу, внимание, терпение (я знаю, это дорого стоит), походы в кафе, поездки. Да ты и сам знаешь, надеюсь, тебе тоже было хорошо.

Мне уже лучше. И даже доктор не нужен. Я здорово встряхнулась, пришла в себя, расставила все по полочкам. Так что это письмо пишет тебе довольный жизнью и здоровый человек. Видимо, у меня есть что-то в голове, что заставило меня забить на себя и стать глубоко несчастной. Если я, сама того не желая, сделала больно тебе, то я прошу прощения, если я тебя когда-то чем-то обижала или обидела.

Все это мне не очень понятно, но я не хочу клянчить любви или жалости к себе. Да мы были счастливы, но, видимо, это нужно отпустить, так что я думаю, что время поставить точку

пришло.

P.S. Это было отличное время. Удачи тебе. И, хоть это будет и сложно, надеюсь, что мы будем и дальше общаться.

Письмо Рыжей (10 января)

Я, наверное, круглая дура, но я должна сказать, так все не должно заканчиваться. Я люблю тебя.

Часть вторая

Ольга исчезла. Через месяц я решил ехать в Лондон.

Байка про Лондон

Байку про Лондон я обычно рассказываю на дружеских застольях. К этому моменту все новости личной жизни уже пересказаны по второму кругу. Один друг ковырял во рту зубочисткой, второй пытался что-то насвистывать.

— Молодой человек, темненькое мне, а два светленьких — молодым людям, пожалуйста.

Когда я убеждаюсь, что говорить решительно не о чем, я начинаю:

— Я вам рассказывал, как съездил в Лондон? Это было в феврале. Я поехал к родственникам, там живет моя сестра. Меня пригласили впервые. Я сел в самолет, пересматривал “Жестокие игры”. Представляете, у них в самолетах есть выбор фильмов! Прекрасный фильм. Рядом со мной спал китаец. И... Ничто не предвещало беды. Ха. Знаете, я хочу вам сказать одну вещь: Никогда. Никогда не предлагайте конфетки китайцам! Когда мы снижались, я дал ему конфету, чтобы уши не закладывало. Мы разговорились о политике, о России. Познакомились с русскими дамами, которые сидели за соседними креслами. Одна была симпатичная, ну а вторая... Вторая знала Лондон. Мы пошли в какой-то бар. Дальше пуф... Забвение.

Спустя три дня я проснулся в комнате отеля из-за того, что сполз презерватив... Ну как сполз... Он был на пожарной сигнализации, свалился оттуда, клубы дыма в комнате поднялись вверх, и начала визжать сирена. Когда я очнулся, у меня было самое жуткое похмелье в моей жизни. Рядом лежало слабознакомое мне тело. Вроде женское. Как зовут? Что-то среднее между Настей и Евпраксией... В комнате полный бардак: одежда разбросана, стул перевернут, бутылка забралась куда-то в угол. На другом конце комнаты я увидел одинокий наполовину пустой стакан воды. Я поплелся. Мир раскачивался передо мной. Не знаю, как добрался к нему по этой палубе. Я начал пить. В этот момент воспоминания стали возвращаться. Первое, что я вспомнил — вчера она положила в этот стакан свои линзы.

Я сел на краешек кровати и пытался понять, что же мы вчера чудили. Первое, что пришло на ум — прошлой ночью мы пили с ирландцем. Китайца мы уже к тому моменту где-то потеряли... Никогда. Никогда не пейте с ирландцами. Он рассказывал, что у ирландцев “привет” звучит, как у англичан “совращение несовершеннолетних”, клеился к симпатичненькой. Дальше забвение, забвение, забвение...

Следующий фрагмент: я курю на заправке и меня оттуда прогоняет негр. Потом, я помню, мы лезли через забор в Гайд-парк, где прятались за деревьями от копов. Они патрулировали его ночью. Потом она у меня спросила:

— У тебя есть ванна в номере? У меня маленькая квартирka, там поместился только душ. А я ужасно люблю принимать ванну.

— Да, конечно, — сказал я.

Мы пошли ко мне в номер. Она залезла в ванну, а я стоял рядом, одетый. Дальше она сказала:

— Если ты знаешь слова этой песни, я исполню любое твоё желание.

— Какой песни?

— Every you every me (Каждая ты и каждый я)

— Кто же ее не знает?
— Тогда пой: Sucker love, a box I choose (Чертова любовь, дыра которую я выбираю)
— No other box I choose to use (И ни в какую другую дыру я больше не полезу)
— Another love I would abuse (Я использую сполна другую любовь)
— No circumstances could excuse (И никакие обстоятельства не смогут меня извинить)
— Иди сюда.
Она исполнила все мои желания.

Я немножко пришел в себя, а она куда-то испарилась.

Конечно же, так продолжать было нельзя, и я решил культурной программой привести свою карму в равновесие. С того дня я посещал по два музея каждый день и театр вечером. Вот так я и съездил в Лондон.

Еще темное и два светлых, пожалуйста.

Лондон

Через полчаса мы должны были приземлиться в Хитроу. Я досмотрел “Последнего короля Шотландии”, которого бесплатно показывали на экране в спинке впереди стоящего кресла. Накатила скука. За окном было темно, только серые контуры облаков лениво плелись где-то внизу. Уже успевшая нахамить мне стареющая стюардесса, настоящая англичанка, несла третью бутылку вина, в этот раз белого, девицам особого, туристического, вида, сидевшим справа от меня. Тихо. Лондонские рейсы больны абсолютной апатией: все знают, куда они едут и зачем. Кто-то деловито редактирует тексты на ноутбуке, ведь целых четыре часа нет никакой возможности связаться с работой. Кто-то отсыпается, чтобы завтра успеть все на свете. Даже дети, и те, не кричат. Не бывает истеричек, которые крестятся перед полетом. Все обыденно — пассажиры летят домой.

Темненькая туристка подавилась вином и громко засмеялась, сидящий пассажир в титановой оправе, кажется Gucci, оторвался от ноутбука и недовольно на нее зыркнул, девушка стала пытаться себя контролировать, отчего захохотала еще громче. Мой сосед, китаец, проснулся от ее смеха и растерянно оглянулся.

Пристегнуть ремни. Еще полчаса мы будем медленно ползти вниз, пока шасси не стукнется о землю. Скучно. У меня давно не закладывает уши, но я все равно покупаю пачку конфеток-сосалок в аэропорту. Леденец медленно прыгал между зубами. Интересно, я смогу посчитать, сколько раз перекачу его из одной щеки в другую? Раз—два—три—...—двадцать семь — двадцать девять. Китаец смотрел мимо меня в иллюминатор и временами поглядывал на туристочек.

— Хотите? — я протянул леденцы.

— Оу. Спасибо, — сказал он на слишком чистом британском, — Меня зовут Алекс. А тебя?

— Антон. Алекс, откуда ты?, — сказал я, подозревая, что он какой-нибудь мажорчик из Гонконга.

— Из Лондона. Я прожил там всю жизнь. На самом деле меня зовут *какая-то белиберда по-китайски*, но всем проще называть меня Алекс.

— И тебя это не напрягает?

— Я сам придумал свое имя, мне оно нравится. Я совсем не против... (чтобы стерли меня и заменили стереотипом, откинули мои корни, сделали меня машиной, ведь я так большего добьюсь, так можно адаптироваться, так проще выжить, — этого он не сказал, и, похоже, даже не подумал.)

— Как тебе Москва? На экскурсию ездил?

— Нет, что ты, я там работаю. Вот уже три месяца. Инвестмент банкинг.

— И как? Не дико?

— Очень перспективно. Интересные задачи. Зарплата вдвое выше.

— В Лондон к родителям?

— К родителям. К друзьям.
— Часто бываешь?
— Очень. Я страшно скучаю по дому.
— В Москве небось диковато...
— Нет, что ты. Там перспективно. У меня уже куча друзей. Даже пару слов по-русски знаю.
— Небось Алешей тебя называют, — засмеялся я.
— Алеша? Ха, надо бы запомнить. Нет, меня называют Саша. В этом есть что-то французское...

А ты зачем в Лондон?

— Сестра позвала. Что-то типа семейного реюниона.
— А она в Лондоне живет?
— Ну да, где-то в центре.
— В какой зоне? — впервые в его глазах мелькнул интерес.
— В первой, насколько я помню.
— Вау, это же целое состояние.
— Не знаю, наверное.

Рекламный листок шелестел, выносимый на острые зубцы прибоем эскалатора. Мы с Алексом шли в сторону таможенного контроля, позади нас — слегка протрезвевшие туристки, которые начали ухмыляться.

— Хэй, я видела, как ты на нас смотрел в самолете, — сказала темненькая Алексу. Странно, мне казалось, что это я пялился на них во все глаза, а китаец спал все время.

— Вам не понравилось? — спросил я.

— Да нет, что ты. Меня Фрося зовут. А ее, — сказала Фрося, указывая на блондиночку, — Света.

— Я Антон, а это — Алеша.

— Мне казалось, что он не русский.

— Девушки, а вы умеете говорить по-английски? Я вас не очень понимаю, — глупо ухмыляясь сказал Алекс.

— Конечно умеем! Меня зовут Фрося, а это Света.

— Вы впервые в Лондоне?

— Я жила здесь два года, а Света в первый раз, — сказала Фрося.

— Вы представляете, это сумасшедшая заставила меня взять визу, чтобы съездить всего на три дня. Она говорит здесь классный шоппинг. Это было просто крейзи! — тараторила Света. Ее вечнопьяные глаза были покрыты пленкой инфантильной глупости, что придавало ей шарм симпатичной дурочки. Выглядела она лет на пять младше своего возраста и только морщинки в уголках глаз выдавали череду сумасшедших приключений.

— Цель вашей поездки? — спросил таможенник.

Я замаялся, не зная, что ему ответить.

— Цель вашей поездки? Вы говорите по-английски? — с презрением переспросил он.

— Ах да. Простите. Семейный реюнион. У меня сестра здесь.

— Не забудьте ваш паспорт.

Зал прилетов пятого терминала Хитроу. На пятьдесят человек встречающих, огромный светлый зал с яркими витринами пустующих магазинов. Надо бы купить сигарет.

— Эй, друг Алеши! Мы на метро, тебе куда ехать? — спросила Фрося.

— Куда-то в центр. За мной водитель должен заехать.

— Вау! Настоящий водитель? Местный?

— Не знаю. Мне сказали, что он похож на Джеймса Бонда и сам меня узнает.

— Ой, так нам тоже в центр. Подвезешь? — прищурив один глаз спросила Фрося.

— Если в машине будет место.

— Светик, иди сюда, мы сейчас по Лондону на машине кататься будем!

— По левой стороне? Да это же просто с ума сойти! — проснулась Света.

— А что за машина? — с интересом спросила Фрося.

— Понятия не имею.
— А чья?
— Родственников.
— А они здесь живут?
— Да.
— А что же ты не здесь?
— Так вышло.
— И что, не предлагали?
— Предлагали.
— Ах, так ты Родину любишь!
— Нет, Родину я не люблю. У тебя есть сигареты?
— Да, конечно! Я в Москве купила две пачки, потому что знаешь, какие здесь дорогие?! Денег не напасешься, а я с собой привезла.

На улице было зябко и моросила мелкая дрянь. Мы курили в самом начале бескрайней парковки, на которой аккуратно стояли дорогие машины, одна за одной, уходя в горизонт.

— Светуль, помнишь, что я тебе говорила? Главное купить витамины. Здесь витамины настоящие, а не фигня всякая, которую нам продают. Здоровье — это главное. Здоровье прежде всего. Антош, что-то твой водитель не едет. Быстрее бы уже на метро доехали! — крутилась на месте Фрося. Чернявенькая, низкого роста, но на высоченной платформе, с пирсингом в губе и кучей браслетов на руках. Свою заурядную внешность она компенсировала тем, что занимала собой все пространство. Света же стояла, внимательно слушала и с благоговейной улыбкой кивала на весь этот лепет.

Зазвонил телефон.

— Здравствуйте, простите. Я опоздал. Где я могу вас найти? — взволнованно спрашивал водитель.

— Я подойду к зоне прилета.

Водитель правда был похож на слегка потолстевшего Джеймса Бонда, потерявшего налет жизненного опыта, а следственно и аутентичность.

— Здравствуйте, простите, что я опоздал. Я не думал, что вы так рано выйдете, а еще авария на хайвее, я вам даже на навигаторе могу показать. Я никак не мог приехать быстрее.

Простите.

— Да все в порядке. С нами дамы в центр поедут, вы не против?

— Нет, что вы... Конечно, — с сальной улыбкой ответил водитель.

— Я Фрося, а это Света. Вас точно не затруднит?

— Конечно нет.

Джеймс Бонд подкатил машину.

— Вау, Антош, так тебя на джипе забирают? Что же ты сюда не переедешь? А можно я впереди сяду? Ой, я на водительское место чуть не села, ха-ха, — тараторила Фрося.

Лондон — это Москва, выблеванная наизнанку. До боли похожий, но доведенный до совершенства в каждой своей маленькой детали. Неслышимый ветер проносился по шоссе, разнося всякий хлам. Фары встречных машин пробегали по потолку. Фрося тараторила со своим наглым и угловатым акцентом, не дающим возможности ее не понять. Водитель нервно посмеивался над ее рассказами, пытаясь отыграть очки за собственное опоздание. Света с заметным усилием вникала в суть Фросиной болтовни. А я смотрел, как по потолку пролетает очередная вспышка света.

— Смотри, Гайд-парк, Гайд-парк, Гайд-парк. Это ведь Гайд-парк? Завтра мы пойдем в Гайд-парк! Я тут была и тут была. И завтра мы зайдем в прекрасное кафе, где подают английский завтрак. Я знаю кафе, где подают настоящий английский завтрак. О! Мраморная арка! Я знаю историю про мраморную арку. Ты знаешь, что около нее казнили людей? А теперь прямо в ней живет поставой и за всеми следит!

Проехав по темному переулку мы остановились около подсвеченного крыльца отеля.

— Ты в отеле будешь жить? — с удивлением спросила Фрося.

Джеймс Бонд подхватил мой чемодан и понес по лестнице. Он подошел к стойке регистрации и слегка заигрывающим тоном сказал уставшей администраторше:

— Здравствуйте, у меня есть бронь на имя миссис N. Все оплачено, в номере будет жить вот этот молодой человек, — а потом повернулся ко мне и добавил, — Миссис ужасно перед вами извинялась и просила сказать, что ее квартира в ближайшие пару дней... будет в состоянии реновации. Потом, конечно, вы переедете к ней, ну а пока... только так. Еще она просила передать вам эти двести фунтов и сказать, чтобы вы себе ни в чем не отказывали. Завтра вас приглашают к ней на обед. Что касается девиц, ну то есть, дам... я должен их довести по какому адресу? — спросил он с легкой неохотой.

— Спасибо, это не потребуется. Я сам разберусь... провожу девиц до их отеля.

— Я могу быть свободен?

— Да, спасибо.

Джеймс Бонд повеселел и с едва заметным облегчением пошел к своей машине. Сестра говорила, что он иммигрант откуда-то с Балкан и до этого работал вышибалой на дискотеке. А теперь бодро пародирует кокни и манерничает будто Дживс. Мне бы его умение адаптироваться и наигрывать роль, далеко пошел бы.

Оставалось разобраться с туристками. Как бы на моем месте поступил настоящий английский джентельмен? Нужно вежливо пожелать доброго вечера, самому поймать кэб, сунуть двадцатку водителю и заблокировать их номера на пару дней, пока они не улетят из Лондона. Довольно простой, вежливый и практически бесхитростный план, не правда ли? Должна ли меня мучить совесть? Едва ли. Я спустился по ступенькам отеля. Внизу Фрося что-то оживленно рассказывала Свете, размахивая руками.

— Ну и где ты был? Твой водитель давно ушел, а ты все не спускался! Мы уже устали ждать! — восклицала Фрося.

— Регистровался в отеле...

— Пошли ужинать! Я знаю одно уникальное место всего в двух кварталах отсюда!

— Я, честно говоря, лучше бы остался в номере и попытался предаться меланхолии.

— Ты что, дурак?! Ты в Лондоне, в самом невероятном городе на всей Земле. Ты дома погрузить не можешь? Или жрать не хочешь? Пошли давай быстрее, — сказала Фрося, развернулась и пошла по тротуару в темноту. Света помельтешила за ней.

Я не знал, был бы я большим дураком, если пошел за ними или если бы остался один. Впрочем, есть мне хотелось, а делать в ночном Лондоне совершенно нечего.

Прошатавшись полчаса по городу, мы нашли то самое место. Кафе Пицца Экспресс, уникальное сетевое заведение, насчитывающее более четырехсот ресторанов по всей Великобритании.

— Мне кажется, это самая вкусная пицца на Земле, — гордо заявила Фрося, — а официант? официант? Вы видели? Именно такими и должны быть официанты — он все у нас сам спросил, все предложил и даже улыбался, будто правда был рад нас видеть. Уникальное место! Давайте делиться друг с другом едой, чтобы каждый попробовал как можно больше! Света пригубила еще вина и громко икнула. Я не представляю, как Фрося умудрялась быстро сметать все с тарелок и тараторить, заполняя собой довольно большой зал:

— Антош, ты просто обязан пойти завтра с нами в Гайд-парк. Если ты в Гайд-парке не был — ты жизни не видал. Мы должны там покормить белок. Ты видел их белок? Они невероятно наглые и жирные. А мы их еще раскормим. А потом на Оксфорд-стрит. Там самый лучший шоппинг. Там есть бренды, которых у нас нет. Вот я как считаю: на кой черт переться в Лондон, чтобы покупать, то что у нас продается и так? Верно? Лучше купить что-то необычное, диковинное. А витамины? Ты просто обязан купить местных витаминов. Они настоящие, витаминные!

— Я, к сожалению не могу завтра. Меня пригласили на обед.

— К кому это?!

— К родственникам.

— Ааа! К родственникам. Ну к родственникам, это, конечно, святое. Обязательно иди. Но если

освободишься раньше или сможешь — пиши непременно.

— Конечно-конечно. Я пойду, не выспался с самолета.

Я заблудился. Дождь лил на землю, чтобы отражать светофоры на асфальте. Люди появлялись из-за дальних зданий, а потом исчезали. Только я и одинокие светофоры с кнопками, на которые нужно нажимать, чтобы не остаться в вечном красном.

Не знаю, каким образом, но я оказался в четырех станциях подземки от своего отеля.

Мой номер был сто сорок третьим на седьмом этаже. Уныленькое ковровое покрытие.

Двухспальная кровать. Шторы толщиной в одеяло. Электрический радиатор около окна.

Роскошь в этих краях. Англичане всегда экономят на тепле.

Чтобы не думать, я сразу же лег спать.

Низкое зимнее солнце слепило своей искусственностью. Я шел от Найтсбриджа вверх по Бромптон-Роуд. Зябкий ветер свистел мимо. Хэрродс кишел людьми, которые могут себе позволить прожигать жизнь и в будние дни.

Навстречу мне, по тротуару, девушка в мехах не по погоде, выстукивала метрономом своих лабутенов. В маске из холода и отстраненности сиял огонек гордости. Именно эта гордость всегда поражала меня в дорогих русских проститутках. Возможно, ее порождал длинный путь из Воркуты в Лондон, может она была механизмом, чтобы забыть свою утилитарную функцию и огромные безжизненные квартиры не менее русских людей. А может быть для этих девиц Лондон принципиально ничем не отличался от Москвы, и возникавшая гордость скорее была следствием желания обозначить перемены. Интересно, о чем она думала? Иногда за возможность всеведения хочется пожертвовать своей реальной жизнью. Но куда страшнее, обменяв реальность на всеведение, не найти в мыслях русской шлюхи ничего драматического или хоть сколько-нибудь стоящего.

Я свернул в переулок, зашел в магазинчик и купил сигарет. Индус, продавая мне сигареты процедил сквозь зубы “Шанти шанти шанти”. Я сел на лавку и закурил.

Впрочем, давайте говорить как взрослые люди. Посмотрим на исходные условия. Есть некая Ольга, которая имеет для меня определенную сентиментальную ценность. Это несомненный минус, по той простой причине, что это увеличивает ее значимость для меня, а значит итоговую стоимость при торге. С другой стороны, что она видела в своей жизни? Покатать на машинке, повести в ресторан, свозить в тот же Лондон... Вряд ли сильно больше. Итого мы имеем, что товар достанется нам примерно за свою реальную стоимость. Никакой особой трагедии в этом нет.

Возникает другая проблема — достать деньги. В этом нет даже проблемы, скорее обидный факт, что для достижения цели мне придется стоять на коленях не перед ней, а совсем перед другими людьми. Променять на это свободу и... Нет, не душу. Кому эта душа, к черту, нужна? Скорее менять придется идеалы и отдать все свое время. Превратить свою жизнь в тюрьму. Если хорошенько вдуматься, довольно невысокая цена.

А вообще, смешно все это. Хотя мне и интересно представлять Ольгу в качестве фарфоровой куклы из магазина... из Хэрродс. Большой, дорогой фарфоровой куклы, которая двадцать лет лежала на витрине, пока с нее педантично смахивали пыль, а потом подыскался покупатель... Но в этом не хватает правды. А правда в том, что сама возможность купить Ольгу доводит ее ценность до нуля, разрушая яркие перспективы свободного рынка.

— Чего ты сидишь? Пошли, пошли, пошли, — сказала сестра.

— Привет.

— Я тебя сейчас познакомлю с моими очень хорошими друзьями. Они общались со мной, даже, когда подозревали, что я русская мафия. Ха-ха.

— Может...

— Пошли, они уже ждут.

— Кто они?

— Два прекрасных брата. Старший — восхитительный, прелестный, учится в университете, очень умный, тебе понравится. А младший... скромный, неловкий, молчаливый, но он мой

отличный друг... и через него можно общаться со старшим, верно?

— Ох, ну ты...

— Ну уж явно не ты! — рассмеялась сестра, — А как твои?..

— Как видишь, в Лондоне, — нахмурился я, — Ну а так вообще...

— Садись! Хорошо, что на улице есть место. Они скоро будут! У тебя есть сигареты? Я от мамки прячусь. Еще лекции читать начнет. Я хочу вот этот вот китайский суп. А ты что будешь? Суп прелестный, всего полтора фунта. Не хочешь? Ну ладно. Мне суп, пожалуйста.

— Ну привет, дорогуша! — послышалось где-то из-за спины. Сзади к сестре подошел кудрявый парень и поцеловал ее в щеку. Рядом с ним стоял его младший брат, утонувший в своей неловкости. Старший переставил дешевый алюминиевый стул ближе к сестре и откинулся в нем будто сел в кресло. Младший сидел напротив, так, что лондонская морось стекала с большого зонтика ему за шиворот.

— А это кто у нас такой? — с полуухмылкой посмотрел старший.

— Это мой брат из России.

— Он понимает английский?

— Да, я просто молчалив от природы, — засмеялся я.

— Молчание — ... в сущности, абсолютно нелепая штука.

— Не то слово.

Он подвинул стул сестры, приобнял ее и сказал:

— Давай, уже. Рассказывай. Кто ты, загадочный молчаливый русский?

— Мне кажется, что любой русский ответит тебе, что он, в первую очередь, человек, хоть это и редко окажется правдой.

— Ха! Ты посмотри! Твой брат шовинист. Он мне нравится. А я люблю русских. Я бы хотел выучить русский. Мне кажется, это прекрасный язык.

— Зачем тебе это? — засмеялась сестра.

— Я приеду в Москву. Конечно же летом, и буду говорить о литературе.

— С кем это?

— Не знаю, но у вас же есть какие-то университеты там, наверное.

— О какой литературе? Наверное, Достоевский? — спросил я.

— Нет, что ты. Я не читал Достоевского. Он мне не интересен. У вас есть роман "The Hero of Our Time". Я хочу прочитать его по-русски.

— Серьезно?

— Конечно. Он абсолютно гениален! Как он соблазнял всех этих женщин! В этом же и есть искусство! Как он находил ту маленькую деталь, из которой он умел выкрутить всю их душу. Не это ли прекрасно?

— Наверное.

— Ладно, хватит о мертвых людях, давай поговорим о чем-нибудь более теплом: чем ты занимаешься, по жизни?

— Учусь писать.

— Что, простите?

— Учусь писать прозу.

— И о чем ты пишешь?

— Сейчас о любви.

— Ха! Я тоже пишу о любви. Хоть и учусь на философа. У меня уже пятьсот страниц о моих приключениях. Там есть несколько хитрых трюков и уловок. Не как у Лермонтова, конечно, но, мне кажется, тоже весьма достойно. А сколько у тебя страниц?

— Около сорока, — соврал я.

— Как-то у тебя не слишком много любви, — засмеялся англичанин.

— Ой да отстань ты от него! — воскликнула сестра, явно желая перевести фокус разговора на себя. Брат англичанина сидел тихо и смотрел куда-то вдаль.

— И правда, накинулся на человека, хоть он и сказал, что молчалив. Ты ведь где-то здесь недалеко живешь?

— Ну да, в квартале отсюда, — буднично сказала сестра.
— Около метро, которое на линии Пикадилли?
— Ну да.
— Боже мой, как же это все-таки удобно. Когда часто летаешь, не надо тратить на кэб, а всего за сорок минут ты можешь быть в Хитроу. Очень люблю эту линию.
— Еще у нас дом на этой же линии.
— Когда я буду покупать дом, я абсолютно точно куплю его на Пикадилли. Очень удобно, — сказал он и мечтательно посмотрел на сестру. Этот философ ни секунды не сомневался, что довольно скоро он заработает дом на линии Пикадилли.

В окно моей комнаты люминесцентным светом заглядывало опустевшее к ночи офисное здание. Радиатор не грел, я закутался в одеяло, повернувшись спиной к окну. Интернет больше не пишет, что новых сообщений нет, он просто показывает, как много у тебя старых. Обновлять страницу, печально щелкая клавишами, нету смысла. JavaScript все сделает за тебя. Просто сиди, смотри на горящую в темноте плоскость монитора и, желательно, молчи.

Странно. Даже банальная идея — отсутствие коммуникации как новая смерть, сейчас обострилась. Физически я в проклятом Лондоне. В сети она больше не существует. А телефон не возьмет. Она никогда не брала телефон. Она его истерически боится. Как это странно, бояться телефона. Во что же я влез?

Я вздрогнул от звонка. Девки из самолета. Не знаю, что заставило меня ответить. Скука и бессмысленность. Положим, что они.

— Привет! Мы ужинаем с нашим новым другом! Ты придешь?! — видимо темненькая.

— Привет. Мне лень.

— Тут недалеко. Приходи. Чтоб через пятнадцать минут был!

Я подошел к очередной сетевой лондонской пиццерии. Сложно не оценить постоянство туристического вкуса. За столиком Света сложила ноги на толстого рыжевато-голубого мужчину и вещала:

—... мы проснулись впятером, голова болела и, представляешь, мы все голые. Это было просто крейзи! — сказала она и томно засмеялась. Видимо, Света в этот раз предназначалась не мне.

— Антош, садись ко мне ближе, это Джейкоб, он из Ирландии, — сказала Фрося.

— Джейкоб, как ты думаешь, Элис Гласс успеет умереть до двадцати семи? — спросил я.

— Не думаю, мне кажется ее алкоголизм и наркомания слегка наиграны.

— Хочешь поспорим на десять фунтов?

— Ты желаешь ей зла?

— Я желаю ей славы.

Вечер намечался наискучнейший. Я решил утонуть в вине. Забавно было наблюдать воркование ирландца и Светы. Он отталкивал ее внешне, да и по-человечески, но в ней зародилась надежда, невнятный внутренний интерес, желание сбежать от повседневности. Поэтому она пела трели, обильно используя слово “крейзи”, как маркер всего необъяснимого в этом мире, а значит смешного, заливалась хохотом на каждую ремарку ирландца и старалась найти точку, в которой мечта, концепция о нем в ее жизни, перестанет быть отвратительной и превратится в настоящую грезу с маленькими оговорками. Ирландец рассматривал Свету как кусок стейка с кровью и молочным соусом.

Постепенно мы переместились в холл отеля. Я продолжал пить. Фрося пыталась обратить на себя внимание, рассказывая про очередной магазин в Лондоне или волшебное место, в которое “обязательно надо сходить”. Девушки ушли, вернулась Фрося уже одна.

— А где Света? — спросил ирландец.

— Как будет “спит в позе морской звезды”? — спросила у меня Фрося.

— Как Иисус.

— Точно, — Фрося повернулась к ирландцу, — Света спит как Иисус Христос на кресте, — сказала она, расставила руки, прикрыла глаза и высунула язык.

— Может я смогу ее разбудить?

— Нет, придется ждать Пасхи.

— Тогда я лучше подожду ее в другом месте. Доброй ночи.

Я хмыкнул что-то в ответ и уставился в стенку напротив. Фрося подседа и сказала:

— Метро закрыли, хочешь я тебя провожу?

— Покажи в какую сторону идти.

— Да мне несложно!

— Ну раз несложно — пошли.

Мы купили сигарет и через забор залезли в опустевший Гайд-Парк. Тени деревьев в свете фонарей причудливо плели дорогу перед нами.

— А ты был в прекрасном магазине... — начала Фрося.

— Черт побери, опять.

— Ты так ведешь себя здесь, будто тебе не нравится.

— Нет, мне здесь очень нравится. Тут, изображая из себя безмолвного иностранца, можно понять слишком много о человеческой природе. Вот вчера, например: я пошел в театр.

Покупал билеты в последний момент, поэтому попал только на балкон. Рядом со мной сидело двадцать девочек-негрят и две благотворительницы, которые привели их на спектакль.

Благотворительницы, женщины лет сорока, были напояжены, надушены и одеты не дорого, но дороговато. Их мужья, явно люди с достатком выше среднего, оплачивают их двадцать

маленьких прихотей, чтобы в это время самим, раз в две недели, с семи до восьми развлекаться с русскими шлюхами ценой тоже чуть выше среднего. Я приготовился смотреть

спектакль. Рядом со мной елозила одна из маленьких девочек. Благотворительница встала, подошла ко мне и с невероятной гордостью сказала: "Не пугайтесь наших девочек. Они очень хорошие. Они не кусаются."

Улыбнулась мне и уселась обратно, выдерживая осанку. Каждый раз, когда, среди спектакля одна из школьниц шелестела чем-нибудь, благотворительница громко прочищала горло, вставала и все тем же гордым шагом направлялась к своей маленькой жертве, останавливалась над ней, и с той же надменной улыбкой просила девочку прекратить безобразие, тоном, будто она разговаривает с какой-нибудь графиней, тем самым показывая девочке ее истинное положение и унижая до самого предела. Постановка, к слову, и бумаги, на которой печатали билет, не стоила. Чему тут не нравиться?

— Здорово ты напридумывал.

— Да, напридумывал.

— Хотя этих, в хиджабах, так много, так много, эти курицы укутанные выносят половину магазинов! И все равно в платках ходят. Кошмар.

— Кошмар, — мысль сбежать от своей спутницы в темноту Гайд-парка была особенно мне мила. Только я был слишком пьян, а телефон сел. Значит точно заблужусь. А потом одичаю. Так и буду бегать по парку ночами, неприкаянный, пока меня не поймают скорая. Я усмехнулся. Фрося восприняла мою улыбку за какой-то знак:

— Слушай, а у тебя ванна в отеле есть?

— Да, есть, — я малость удивился вопросу.

— Ты представляешь, у меня в Москве нет ванны! То есть вот только душ есть, а ванны нет.

Это так неудобно. Ведь каждая девушка мечтает иногда принять ванну. Можно я посмотрю на твою?

Я не знал как реагировать и поэтому просто хмыкнул. Одобрительно хмыкнул. Мы прошли возле Мраморной арки. Прямо под аркой человек пять били кого-то ногами. Избиваемый выглядел странно: он не отбивался, не пытался бежать. Он просто держал свою голову руками, будто пытаясь защитить самое ценное. Вдалеке разносилась сирена.

В номере было холодно. Фрося быстро окинула все взглядом и сказала:

— Какие у тебя хоромы! Номер просто огромный! Ой, тут можно заказать алкоголь.

Интересно, а ночью они приносят? Давай возьмем вина!

— Бери.

Вино принесли в емкости со льдом. Фрося радовалась и хлопала в ладоши.

— А теперь пришло время посмотреть твою ванну!

Она стала раздеваться при мне. Я не знал, куда себя девать. Ее тело не вызывало никакого желания: низкая, худая, со слегка виднеющимся дряблым животом. Мой взгляд задел ее маленькие уши с простенькими сережками. Они напомнили мне уши Ольги. Я вздрогнул. (Какое пошленькое узнавание. Да, я вернулся. Ты что, думал, я пропал? Когда ты раскрывал мои скобки и строил отвратительные в своей банальности сложносочиненные предложения, ты думал, что я исчез?! Я просто молчал и смотрел на тебя с отвращением. Ты, наверное, полагал, что ты сейчас построишь свое новое меланхоличенькое амплуа, молчаливое и слегка загадочное и тебе сойдет это с рук? Тебе наверное все поверят, всё простят и полюбят. И этой мелодраматической банальностью “Я узнал ее уши”, разбавленной доброй порцией легкой веселенькой эротики, ты расскажешь правду? Нет, я скажу тебе правду. Ты испытывал к ней отвращение. Настоящее животное отвращение, презрение, скуку. И все равно ее трахнул. Уж не знаю почему: то ли от абсолютной собственной безволяности, то ли вообще безо всякой на то причины. И потом решил придумать эту тупую историю про уши, чтобы как угодно забить запах этого гадкого состояния: абсолютного омерзения к себе. Узнал он ее уши, ничтожество.)

Пар заполнил все пространство ванной. На полу мокли в лужах полотенца. В полутьме Фрося лежала, закинув руку за голову и смеялась.

— Давай поиграем?

— Во что?

— Глупый. Ну, допустим, я буду тебе говорить первую строчку песни, ты вторую и так далее. Если выиграешь, можешь делать все, что угодно.

Я хмыкнул.

— I'm unclean, a libertine (Я нечист, распутник)

— And every time you vent your spleen (И каждый раз, когда ты выходишь проветрить свой сплин)

— I seem to lose the power of speech (Кажется, будто я теряю дар речи)

— Your slipping slowly from my reach (Ты медленно ускользаешь от меня)

— You grow me like an evergreen (Ты думаешь, что я вечно буду рядом)

— You never see the lonely me at all (И ты никогда не видишь моего одиночества)

— I fall (Я падаю)

— Without you, I'm nothing (Без тебя я ничто)

— Если бы ты был посмелее, ты бы давно залез ко мне в ванну, — засмеялась Фрося. Я повиновался. (Здесь тебе следовало бы закончить повествование, сделать монтажную склейку и перейти к последствиям. Так было бы лучше, литературней.)

— Антоша, ты какой-то дикий! (Пожалуйста, замолчи.)

— Ах, Антоша. (Заткнись, я ненавижу, когда меня так называют.)

— Антоша, давай я. (Пожалуйста, давай ты просто навсегда исчезнешь из моей головы.)

— Антоша, так долго. Ну ты не переживай, ты просто пьяный. (Не хватало ей в этот момент цитировать Буковски.)

— Антоша, я перебрала, мне тошно. (А мне-то как.)

— Антоша, ты хочешь еще?! (Инерция.)

— Антоша, не переживай, это алкоголь, во второй раз со всеми так бывает. (Дайте пожалуйста хоть чуть-чуть тишины в голове.)

С утра мир раскалывался на части и дребезжал. В какой-то момент Фрося вскочила с кровати и голой металась по комнате в надежде найти свои вещи. Мне было неприятно на нее смотреть. Она пролепетала про то, что Света ее, наверное, давно ждет и ей нужно бежать, но чтобы я обязательно ей звонил, ведь можно прекрасно провести время в Лондоне в оставшиеся у нее пять с половиной часов.

Внизу меня ждал водитель.

— Реновация закончена. Я здесь, чтобы привезти вас к миссис.

Я взял у сестры таблетку от головы, свитер с рисунком конопли, вышитой стразами, и решил спрятаться на улицах Лондона. В музее мне стало совсем дурно и я решил присесть под “Поцелуем” Родена. Ко мне подошел зритель и заговорил с интонацией, будто он разговаривает не с похмельным туристом в нелепой кофте, а с каким-то графом:

— Сэр, у нас не положено здесь сидеть. Вы не могли бы пройти в кафетерий?

Я долго бродил по городу, подгоняемый порывами холодного ветра, который несся с самого океана, пока не заснул на последнем сеансе в каком-то захудалом кинотеатре, где кроме меня был лишь один зритель. И Николь Кидман сказала мне с экрана: “Я хочу наблюдать, как жизнь медленно разрывает тебя в клочья”

Саша

Саша вела меня сквозь снежную пустыню.

— Мы должны найти самое синее небо. Ты знаешь, мрамор лучше всего выглядит на фоне темно-синего. Хочу себе ломтик самого синего неба!

Она ловко перепрыгивала сугробы, будто не боясь провалиться вниз. А я тонул в снегу все глубже и глубже.

— Пошли еще дальше! Так ты сфотографируешь меня на фоне домов, не хочу, чтобы около моего лица были муравейники.

Мои джинсы прилипли к ногам. Я снимал ее, пока она летала по снегу и хохотала.

— Что же ты меня сегодня не учишь про то, как мне правильно быть? Испортить наконец мне настроение, чтобы я, как ты, нырнула в сугроб с головой!

— Мне сегодня нечего сказать. (Верно, ведь ты можешь только реагировать.)

— Тогда говорить буду я.

ты знаешь то что ты называешь любовью суть гордыня из мира ушла красота ты не можешь ее понять ты думаешь что гордыня и есть ее красота но дело вовсе не в ней а в том что ты собственную гордость и низость прикрываешь ее образом который ты не принимаешь в его полноте ты боишься отдаться целиком своему страданию а ведь страдание и только страдание порождает энергию которая производит красоту красота моего страдания и есть любовь

Саша упала на снег.

— Но ведь то, что ты сейчас сказала, это скорее про нее.

— Я знаю ее через тебя. Все, что я сказала, это только про тебя.

— А ты?

— А я, пожалуй, тоже.

Саша вела меня дальше. Снег поднимался с земли и закручивался спиралями, которые съедали себя и стелились над пустыней.

— Отдаться целиком страданию?

— Да.

— Как это?

— Представь себе: сидишь ты, а напротив его любовница. Ну как любовница. Просто телка, которую он пер на пьяную голову. Вы пьете кофе из больших таких пребольших чашек. Ты смотришь ей в глаза, а она смотрит тебе в глаза. Ты знаешь. И она знает, что ты знаешь. И ты чувствуешь... взаимопонимание что ли. Теперь ясно, что такое отдаться страданию? Это заставить себя в этот момент широко так и искренне улыбнуться.

Я молчал.

— Осуждаешь?

— Нет. Больно?

— Я живу своей жизнью.

— И где твоя жизнь сейчас?

— Уехала. И особо не советовалась. Пишет, что теперь трахает трансвеститов. Внутри них

правдивый ракурс на жизнь, видимо.

— Хотела бы посмотреть ей в глаза?

— В глазах всегда туман и нет никакой правды, кроме страдания.

Саша провалилась в снег.

В индийском подвале кухонный пар покрывал зал. Официанты говорили только на своем наречии. Еда прожигала желудок, а питье – нёбо. Саша сидела напротив и не хотела смотреть мне в глаза.

— Саша, Саша, Саша... Сашенька. Мы ведь так с тобой выплывем. Вдвоем выплывем. Ты ведь понимаешь, что из этого надо выбирать. Ты все понимаешь, ты ведь умная, и глаза у тебя грустные. Сашуль, пожалуйста. Я прошу тебя. Мы ведь поможем. Друг друг поможем. Сам я не смогу. Тебе ведь тоже это нужно. Сашуль, пожалуйста. Нам нужно выплывать. Как-нибудь. С трудом. Но сами мы утонем. Ты же все понимаешь. Сашенька. Ты ведь тоже мучаешься, черт побери. Смотри как тебе плохо, бедненькой. Ну пожалуйста, пожалуйста, помоги. Прошу тебя. Саша, (— я не смог сказать все это вслух. Как и всегда.)

Саша опустила взгляд на стол и нервно прихлебнула кофе с пряностями.

Как я лишился детства

Паркая парижская электричка везла меня к счастью. За окном стучал пригород. Солнечный лучик играл на ногах француженки лет тридцати, сидевшей напротив. (Француженки хорошеют с годами, ты можешь даже сказать правду: ей было лет тридцать пять.) Капля пота сорвалась с ее лба и медленно протекла по загорелой ляжке. Она перекрестила ноги наоборот и поймала мой взгляд.

Француженка долго смотрела на меня, встала, подошла, повиливая бедрами, и села рядом. Холод пробежал по спине. Нерв сжал мою шею. Я стал задыхаться. Я не знал, что мне делать. (Я не знал, что сказать.) Она смотрела на меня пристально, в упор. Мой взгляд от смущения опускался к ее ногам, прыгал выше, снова опадал— как бы не желая остановиться в своем движении. Последний глоток кислорода нервно сожрали мои легкие. Я стал задыхаться. Чтобы мое удушье не показалось неловким для окружающих, я начал кашлять, отчего возникало впечатление, будто мои легкие сложились в маленький мешочек и скоро вывернутся наизнанку. J'avais vingt ans. И я слова не знал по-французски. (Ты утратил языковую суть вообще.) Я потерял суть происходящего. И только осознав свою внутреннюю оторванность от реальности, я смог сделать три глубоких вдоха и медленно открыть глаза. Передо мной качалась все та же покрытая солнечной пылью электричка. Кресло впереди пустовало. Я не решился больше повернуться, но француженка сидела рядом. Я чувствовал тепло ее плеча, которое удерживалась на соответствующем приличиям, но все же интимном расстоянии — в сантиметре от моего. Мог слышать ее дыхание. Замечал боковым зрением прядь ее черных волос, когда смотрел в окно. Но сама француженка больше не существовала — мой страх убил ее. Через несколько минут она, хмыкнув, встала и исчезла на пригородной станции. Вагон продолжал перемалывать пути.

Я сошел на конечной. Передо мной оказалась солнечная площадь с железными воротами. Я подошел к маленькому окошку.

— Вы хотите увидеть все или только половину?

— Я хочу увидеть все.

— Вы не успеете увидеть все, вы пришли слишком поздно.

— Я все равно заплачу полную цену.

Меня пропустили внутрь.

На центральной площади городка огромный Микки-Маус махал мне рукой. Черному французу, сидящему внутри, не нужны были слова, чтобы показать, что мне здесь рады. (Удивительно, насколько реальность проще того, что душит изнутри.)

По площади сновали тысячи обезумевших детей с уставшими взрослыми. Я был один. Мне было двадцать лет. Это был мой последний день в Париже. Я не хотел сюда ехать. Мне казалось, что я буду неуместен. Я возвышался над толпами детей, которые сновали от одной живой куклы к другой, и мне не было стыдно, потому что я твердо решил, что в этот день кончится мое детство. (Ты вставал каждое воскресенье утро, лет с шести и до девяти, и смотрел детские программы, где главным призом была поездка в Парижский Диснейленд.) Я хотел попробовать быть счастливым. Это было довольно пустой идеей, так как я не особо верю в счастье, но может быть стоило всего-то попробовать (или симулировать счастье, ведь если правда-правда поверить, то выйдет, наверное, ничем не хуже). Я встал в часовую очередь на Космическую Миссию 2. Три переворота вокруг своей оси в кромешной темноте. Чем не счастье?

В очереди передо мной стояли русские туристки. Моложавая мать и дочка, лет четырнадцати, в коротеньком платьице в цветочек и белых кроссовочках. Ужасно не люблю русских туристов. Но меня забавляет как они верят в то, что их никто не слышит и не понимает кругом, а потому и говорят в полную силу, будто только в глухом для них мире можно не стесняться собственного голоса.

— Мааам, ну долго еще?

— Не знаю, подожди.

— Мааам, мне скучно, — сказала дочь и стала почесывать ягодицу.

— Я такие бабки угрохала на эту фигню, а ты еще заявляешь, что тебе скучно?!

— Мааам!

В такие моменты очень забавно сыграть случайного прохожего и наивнейшим и самым вежливым тоном поинтересоваться:

— Простите, а это очередь на Космическую Миссию 2 (на Эйфелеву башню, в Макдоналдс, на концерт постмузыкальной группы Анальный Сфинктер, на божью благодать по записи)?

—Д-д-да, кажется, — побелев ответила мать.

Дочка с выпученными глазами медленно перестала себя чесать и стала поглаживать, будто бы поправляя платье.

— Мааам! Ну как ты стоишь? Выровняйся! — мать и впрямь слегка выпрямилась.

— Правда здорово, что мы сейчас кататься будем?

— Мааам! Ну что ты несешь? Тебя не учили, что когда нечего сказать, то лучше помолчать?!

Следующие полчаса и правда прошли в абсолютной русской тишине. Только каждые несколько минут одна из русских туристок нервно, в пол-оборота головы, на меня косились: дочка с улыбкой, мать как-то испуганно.

Вы попали в прекрасный мир будущего! На вас возложена особая миссия. Вы должны взлететь в космос, разобраться с пришельцами и вернуться обратно.

Пока мы летели через космическое пространство, попутно проделывая три сальто, от страха я закрыл глаза. Я не видел звезд. Я с трудом слышал, что говорит мне центр управления полетами, и с каким монстром мы сражаемся сейчас. Рядом орали люди. Я пытался задавить свой тихий вскрик в одиночестве. В бескрайнем космосе темного павильона я был один. Я вышел вспотевший, на негнущихся ногах. Меня слегка подташнивало. Я снова встал в ту же очередь.

Гуляя по парку я зашел в розовый замок принцессы. Красивый снаружи (его снимают в каждой рекламе), он являл собой полый белый лабиринт внутри. Люди не заходили внутрь, а я продолжал блуждать по нему. Не было в замке и принцессы. Только эхо заблудившихся людей гуляло по стенам. (Розовый замок принцессы без принцессы.)

Я старался прокатиться на всех аттракционах. Ближе к закату очереди начали редеть, и я практически не выходил из маленьких летающих вагончиков. В десять часов кончится мое детство. Карета превратится в тыкву. Я должен сделать еще одно сальто. Мне должно стать еще страшнее и еще более тошно. Я должен съесть детство до конца. Еще одна галочка на

карте аттракционов. Еще одна горка и еще. И еще. И вдруг пробило десять. Я не пытался кататься дальше. Я знал, что все кончилось.

И тут громкий голос объявил на весь парк: “Парад начнется через пятнадцать минут!”

Я подошел к центральной аллее. Тысячи людей вокруг приготовились смотреть на иллюзию реальности через маленькие экраны своих мобильных телефонов. Все замерло в ожидании чуда по расписанию.

В тусклом свете фонарей парка началась процессия: на огромных механизированных платформах плыли, подсвеченные неонами, персонажи моего детства, создавая хоровод воспоминаний. Резкие тени от яркого красноватого света подчеркивали искусственность и придавали зловещести куклам, которые ползли по аллее и одинаково махали зрителям. На всех лицах и мордах персонажей застыла вечная широченная улыбка. Верхом на ковре-самолете кукла Алладина обнимала куклу Жасмин, опасаясь, что живые люди, одетые как принц и принцесса, могут разрушить своей реальностью целостность улыбающихся образов. Зрители восторженно кричали и отчаянно снимали цветные пятна, ползущие в темноте. Когда Русалочка растворилась за поворотом, прозвучал громкий выстрел. Потом второй. И пустой замок принцессы расцвел прекраснейшим фейерверком, воплощая всем известный логотип в реальность. Пока гремел салют, я, оступевший от радости, окончательно решил, что мое детство закончилось.

Заблудившись в потемках парка я случайно вышел на автостоянку. Она была абсолютно пуста за исключением пожилого француза, который хотел принять свое одиночество.

Я, уже взрослый, сел в переполненный поезд. Он кишел скулящими детьми и уставшими родителями. Я, наконец, не чувствовал, что я совсем один.

(Когда вы прочитали название главы, вы, наверное, совсем не собирались слушать про Диснейленд. Верно, да? Вы хотели услышать, как я встал со свежепродавленной кровати своей матери, на которой лежала моя подруга детства. Как меня задела полутень развевающейся на ветру тюли. Как я старался не смотреть в сторону обычной женщины растянувшейся рядом, которая далась с легкостью, потому что мне было на нее плевать. И как я пытался выкинуть из головы женщину особенную. Как я пошел за первой осознанно пошлой сигаретой в своей жизни. Как я вступил в лужу от кота, который заливался воющим стоном уже полчаса. И как я, испытывая омерзение, курил, стараясь не быть собой.)

Каждый серый день

— А еще в двенадцать я резала себе вены огромным ножом.

— Вдоль?

— Что я дура, что ли? Конечно поперек.

Очередной день, очередные смотрины, очередное кафе. Я ничего от нее не хочу (и кажется она начинает об этом догадываться). Она пристально смотрит на меня и чего-то ждет.

— Что ты смотришь? — говорит она.

— Ничего.

— Что ты от меня хочешь?!

А я ведь правда от нее ничего не хочу. (Вы не подумайте, она внешне вполне неплоха. Но описания, пожалуй, не стоит.) Меня не забавляет привычная мысль, что она какая-то не такая. Я не могу больше грызть себя тем, что я не такой. (Я живу своей историей и больше ничем.)

Мне даже слегка жалко девочку, которая сидит около меня. Ведь она не понимает, но очень явно чувствует, что она, на самом деле, совершенно одна.

— Что ты от меня хочешь?! — прикрикнула она. Компания девиц за соседним столом сперва недовольно, а потом слегка сочувствующие обернулись.

— Ничего.

Закаты ранней весны тяжело переживаются в моей комнате. Последний лучик полусвета умирает рыжеватой тенью на серых стенах, и я остаюсь с собой. Ночь длинна и бесплодна. Я пробовал писать, черт побери, я пробовал даже петь. Но все равно всегда возвращался к своему любимому занятию: я пытаюсь читать мысли Ольги, пытаюсь понять как же она думает, пытаюсь понять ее до конца. Собираю и перебираю ее. Каждое решение кажется мне лучше предыдущего. Она была и святой, и шлюхой, и банальной серой посредственностью, уродиной, красавицей, глупой, слишком заумной, самоотверженной, алчной. (Смешно, но я все еще думаю, что точно знаю все ее мысли.)

Дом напротив погас. Сегодня она была просто недостаточно храброй. Загорелся экран телефона:

- Привет.
- Куда ты пропадала?
- Переехала.
- К нему?
- Да. Отвратно жить на окраине.
- На окраине? Совсем себя не любишь.
- Нельзя никого кроме себя любить.
- Приведешь завтра свою героиню в театр?
- Посмотрим.
- Ты так говоришь, будто я тебя, а не ее, хочу видеть.
- Тогда она будет без меня.
- Мне кажется, ты была бы ужасным сиамским близнецом, если бы управляла ногами.
- Да и руками — тоже ничего хорошего.
- Интересно, а сиамские близнецы, они друг друга чувствуют? Внутри?
- Представить тошно.
- Это же не чужой человек, а самый близкий.
- С ним ты никогда не будешь один.

Рыжая

Рыжая лежала на кровати, за окном мело (простите за это нарушение хронологии, так нужно). За дверью шумела коктейльная вечеринка. На тумбочке, среди флаконов, лежала бледная рука Рыжей, переплетенная браслетами шрамов (она всегда говорила, что обожглась). Ее тело пропало под чужими пальто. И только поддельные зеленые глаза все еще, вроде как, напоминали о ней.

- Почему ты меня бросил?
- (Это мелодрама?)
- Почему ты меня бросил?
- (Я не стремлюсь строить счастье)
- Почему ты меня бросил?
- Я люблю не тебя.

Я присел рядом. Рыжая обняла меня за плечи. Мне было неловко сопротивляться.

- У меня сейчас прекрасный мальчик. Сирота. Он меня любит. Правда любит.
- А ты его?
- Он меня любит. Правда любит. А уж какой у него аппетит. Маме он очень понравился.
- А тебе?
- Он меня точно любит.
- Зачем ты мне это рассказываешь?

Рыжая залезла под пальто, от которого пахло сигаретами, и молчала. Я долго смотрел в окно. Мне было безразлично.

- Возьми меня... Ну!
- Что?

- Возьми меня.
- Нет.
- Возьми меня, пожалуйста, — Рыжая поднялась, прижала руки к груди и пристально смотрела на меня.
- Ложись спать.

Танцы, Луна, Пустыня

Пластинка с Куртом Кобейном шипела мне в уши по третьему кругу. Все гости были пьяны. Ну и славно. Может они просто счастливые. Алла не пришла. Хотя и обещалась. Черт бы ее брал. Хотя он ее, наверное, и берет.

- Кто-нибудь знает, где Аллочка?
- Небось п❖❖яная танцует под луной со своими лучшими друзьями-бомжами.
- Но на улице еще светло.
- Когда ей это мешало?

Похожа ли она на Ольгу? Нет, они все непохожи. Может быть и стоило где-нибудь найти такую же, один-в-один, но отличную на градацию цвета в глазах, на каплю презрения. Ровно на ту степень физической доступности, когда тайна пропадает, а загадка вешается в петле обыденности. Лежать в обнимку с подделкой своей мечты и чувствовать, как от нее веет чужим холодом. Завести себе фантома, тень за спиной в полной темноте, вечное напоминание об оригинале, который со временем покажется хуже, но все равно будет напоминать о себе ночным кошмаром или вечной бессонницей.

Аллочка прошмыгнула в угол и села рядом со мной. Она спрятала лицо в свои мелированные волосы, и только глаза сверкали как у испуганной зверушки. Ее нога, охваченная тремором, настукивала ритм. Она скрестила руки, чтобы ее не было видно. В молчании Аллы прочитывались мысли, которых не было в ее голове. Она подарила мне паровозик, чтобы уехать в прекрасный мир детства. (Ее нога продолжала стучать.)

Нервное возбуждение Аллы разрезало мою тоску. Дикая, молодая — забавная игрушка. В ней было больше жизни. (Пожалуй, это главное.) А я все еще не отчаялся найти выход. Ты отдаешь всю свою силу на мечту, а при этом организм все еще бьется и сопротивляется, будто утопающий в своем рывке за последним глотком воздуха.

Алла сидела ровно, стараясь никуда не смотреть. Перед ней проносили тарелки с салатом, чайные чашки, грампластинки в приемник. Алла сидела, не двигаясь, и только движение горла, во время сглатывания, выдавало, что она не застывшая кукла. Гости начали собираться, через нее передавали пальто, мимо проходили люди, на нее чуть не упал в меру упитанный молодой человек. Алла изредка моргала глазами. В конце остались только мы и горы грязной посуды.

- Останешься?
- Мы будем запускать паровозик?! — впервые оживилась она.
- Почему бы и нет?
- Я всегда хотела себе настоящий игрушечный паровозик. Они так забавно бегают по одному и тому же кругу!

Я домывал посуду, пока в моей комнате Алла складывала петлю из рельс. Когда я вошел, она, с открытым ртом, кружила около игрушки, будто стараясь всем своим телом догнать паровозик.

- Пошли спать, — сказал я.
- Мы будем вместе спать? Здорово! Как в детском лагере. Мы будем сидеть под одеялом и рассказывать друг другу секреты.
- Раздевайся.
- Зачем? Так ведь куда веселее.
- Ты ведь знаешь, зачем.
- Это не очень-то по-дружески, — сказала она, нахмурившись.

— А я никогда не считал тебя за подругу.

Алла вскрикнула от возмущения и вскочила на диван. (Кажется, она была уже без юбки.) Она накинула на себя одеяло, выставила ляжку и объявила:

— Это — антиизвращенческое одеяло, оно защитит меня от всего плохого.

— Как знаешь, — я начал стаскивать с нее одеяло, она завопила. моя рука скользила вверх по ее бедру, когда она стала вырываться.

— Не трогай меня.

— Ладно.

— Пошли спать?

Ночь проскальзывала мимо моих серых стен, пока я лежал с открытыми глазами, рассматривая потолок. Аллочка плотно замоталась в свое защитное одеяло и вроде бы спала. (Что-то вроде совести свербило у меня в голове. Она так похожа на ребенка, а я заставил ее остаться и зажал в угол. Зачем? Самое смешное — она правда хотела запустить паровозик. А что будет дальше — скорее всего у нее даже не мелькало в голове. Что же я за скотина-то такая? Сейчас вскочит, позвонит матери. Не объяснишься потом. А главное, зачем? Это не приблизит меня к моей цели. Мне просто нужно доказать себе, что я еще жив, что ли. Стоило ли этого того, чтобы разрушить природную органичность?)

— Эй, ты спишь? Эй! — спросил я в пустоту.

— Тише ты, не видишь, я притворяюсь, что сплю?

— Ладно.

— Ладно-ладно, — перекривила она меня, — давай танцевать!

— Зачем?

— Вставай давай.

Она сбросила одеяло, и мы стали танцевать прямо на кровати. Без света. И без музыки.

— Куда ты отошел на полметра?

— Я даю тебе пространство.

— Если ты меня хочешь, тогда держи крепче, что ли.

Я обнял ее.

— Да кто же так держит? Разве это крепко? Это ты так проживешь и ничего не удержишь. Ты вообще, хоть что-нибудь, хочешь удержать?

Премьера

“Ольга – лед; Ольга – огонь. Я не увидел только Ольги – истерички с перекошенным ртом, которая обязана быть по сюжету.

... Антону-рабу, на мой взгляд, было бы лучше держать спину прямее.”

— Из рецензии другого воздыхателя Ольги.

Она была далеко, на расстоянии сотни человеческих взглядов. Потрясающий антиклимакс. Сколько раз я прокручивал премьерный показ у себя в голове. Как чужими словами скажу все, что думаю. И все всё поймут. (Зачем мне все?) Что упадет стена несказанного и недоговоренного.

В итоге я один, передо мной полный народа зал (и, кажется, я начинаю заикаться.) Ольга стоит под софитом, в старом платье из гримерки, совсем непохожая на себя. (А какая она?) Она исключительно функциональна — бросает мне в ответ реплики, как стенка, в которую мечешь мячик. Как бы я не старался, как бы сильно не швырял мяч, стена никогда не дрогнет. Только зал громче зальется звонким эхом ударов. В первом ряду сидит ее мама и, кажется, жених. Конечно, они знают все. (Все всегда всё знают.) И им нет дела. А я продолжаю бить мячом громче, и громче, и громче, пока слова не вылетят у меня из головы, и я не задохнусь на середине фразы.

Я ждал этого момента довольно долго (пускай и не говорил вам). Переламывание себя, труд; время репетиций замирало в ожидании нашей сцены по-настоящему, в первый раз. На ней

должна была закончиться моя кабала, наступить разрешение (во всяком случае я так думал). Реальность обманет всегда — ей плевать на кульминации, жизнь не останавливается в важные моменты; она продолжает протекать мимо, сквозь пальцы, на сцену. И вот мой персонаж говорит героине, что он любит ее безо всякой надежды. У меня срывается голос. И вязнет тишина. Зал ненасытной черной дырой требует знать, что будет дальше. Во мне же слишком мало смелости объяснить, что эта пауза, это повисшее болото и есть вся моя воля, и есть мой маленький бунт против мгновения, которое не станет останавливаться ни за какую плату. Я выжат. Я не думаю, что будет дальше, потому что в столкновении с реальностью я проиграл.

Зажегся свет. Зал бессмысленно хлопал. Его пустота заполнила меня.

Никакой поляризации. Никаких вскриков радостных или отвращенных (более вероятных). Просто привычный, повседневный вежливый и сдержанный тон. Чуть-чуть лести в лицо, чуть-чуть злоязычия за спиной. Даже рецензия Ольгиного воздыхателя на следующий день была заурядным общим местом с плохо скрываемой претензией на профессиональность (дальше претензии дело, впрочем, не пошло).

Натянув джинсы и забыв переодеть рубашку с воланами, я сидел за кулисой. Шаркая по сцене, в гримерку протащили последний стул. На другом конце зала кто-то тихо перебирал клавиши рояля. Зрители уходили, оставляя хлопать на сквозняке железную дверь. Я старался дышать в тон ко всем разобщенным шумам; слиться с серой стеной за кулисами, если бы это было возможно.

Невысокий молодой человек, проходя мимо, остановился и навис надо мной, заслоня свет. Но даже в темном лице, окаймленном софитом, я легко угадал черты жениха Ольги.

— Привет. Хочу сказать, вы классно сегодня играли, — сбиваясь и как-то тихо сказал он. (И это мой противник? И это тот, который целует ее бедра, пока она пишет мне?)

— Спасибо, — сказал я.

— Ольга много мне рассказывала про ваши репетиции. И про спектакль. Кстати, я парень Ольги, — Что же он делает? Территорию метит? Себя показывает?

— Спасибо, — механически повторил я.

— Ха. Да не за что. Вы правда хорошо играли, — сказал он и смущенно улыбнулся.

(Да он же просто, скорее всего, совершенно обычный, хороший парень.)

Он ушел в гримерку искать Ольгу. Я остался сидеть. Хлопнула крышка рояля. Пора идти.

Внизу шел унылый банкет. Ольга сидела рядом со своим женихом (держась на едва заметном, но подчеркнутом удалении).

Я написал ей:

— Спрячь ноги; у меня развивается отвратительный сальный взгляд.

— Спрячь взгляд, это проще.

— Поверь, я пытался это сделать. Только сегодня я много и долго думал, что слишком мало уделяю внимания женским ногам.

— Сглазил, не иначе.

— Я понятия не имею, как можно было бы не слишком пошло описать твои ноги. У тебя ведь длинные пропорциональные женские ноги без изъяна. Разве это не пошлость? В них не хватает какой-то маленькой детальки, примечательной штучки.

— И как теперь дальше жить?!

— Разбей коленку, чтобы видны были маленькие запекшиеся капельки крови. Или налепи пластырь, по живому, просто так, от нечего делать. Телесного цвета, почти не различимого на коже, но все-таки отличающегося на градацию тона. Сделай его похожим на среду, и тогда он будет вызывать должный дискомфорт, как мебель в комнате, сдвинутая ровно на один сантиметр; тогда он будет останавливать взгляды, подчеркивая совершенство твоих ног.

— Извращенец. Уж лучше татуировку.

— Это к тридцати, Чтобы все думали, будто у тебя была бурная молодость.

— Бурная молодость и без того отражается на фигуре.

— Фу. Ты что! Хочешь привнести суровый реализм в нашу историю? А зад, знаешь ли, и без потуги изобразить реальность хорошо отрастет.
Кажется, она улыбнулась.

Под кизилowym деревом

Ягоды, каплями крови разрывая листву, нависали надо мной. Я ел их механически, стараясь заглушить кислотой свои мысли. Чуть поодаль шумело застолье. Мне давно не хотелось слышать людей. Одиночество растворяло память, заставляя сосредоточиться на монотонности действия. Я выискивал глазами капельки ягод; внутри их красноты обнаруживалась незрелость, но я не мог остановиться, заставляя себя обгладывать одну за одной. Кизил не роптал. Кизил был послушен.

Вдалеке, измеряя тяжелым взглядом пространство, сидела Анжелочка. Беременная, выросшая, погрузневшая. Просто устала. (Как бы я хотел просто устать.) Как бы я хотел просто устать. От действия. От работы. От чего-нибудь значащего. Пускай даже монотонного. А не от высасывающего внутреннего... (горя?). Я бы хотел валиться с ног от усталости, а не валяться от нее в бессоннице. Я бы хотел, чтобы ушли кошмары, и их место заняла зияющая темнота. Я бы хотел, чтобы жизнь не имела смысла в своей ежедневной рутине, а не в целом, сама по себе. Может в этом и есть избавление? Может надо принять все, как кажется? Может в реальности, где кровь не течет по кизилowому дереву, будет терпимее?

Смешно. (Будто есть другая реальность). Будто есть другая реальность. Будто все не так, как кажется. Будто эмоцию вызывает не-действие.

Только в кислоте неспелых ягод была какая-то правда. Кизил, ты, Шайтаново дерево. Кизил, на тебе распяли Христа. Что же хочешь сказать ты мне, глупому?

“Живи своей жизнью. Двигай ногами. Смотри ты глазами. Зубами грызи. Не чувствуя боли, не думай о завтра. А завтра придет — на него не ропщи.”

В моей голове наступило затишье. (Будто я правда поверил, когда решил поговорить с собой от лица дерева. “Я спросил у ясеня...”). Я сидел под кизилом и улыбался как предпоследний дурак (последнего только что повели на эшафот, остался только предпоследний).

Ольга написала внезапно (обычно я мог угадать, когда ей станет скучно). Она недавно рассталась с женихом. Я внимательно следил, но молчал. Я думал, что смогу убежать.

— Привет. Ты жив?

— Понемногу, сижу под кизилowym деревом. А ты как?

— Хреново.

— Почему?

— Мне лень думать.

— Лентяйка.

— Нам нужно когда-нибудь напиться вместе.

— Давай! Когда?

— Да ты же под кизилowym деревом, дурачок. Когда приедешь?

— Я скоро-скоро приеду.

— Если скоро-скоро приедешь — моя мама купила газонокосилку и никак не может ее допереть. Перед тем, как напьемся, перевезем матушке средство для скашивания Шайтан-травы?

— Конечно.

Я ходил вокруг дерева, отмеряя шаги, и писал: “Иногда, я хочу, чтобы ее разорвало на части...”

Когда я ехал назад, моя нога билась в мелкой дрожи. Я не мог приехать раньше, я не мог приехать прямо сейчас. Ведь я упущу момент. (Точно упущу.) Или мой поезд сойдет с колеи. Метеорит упадет. По законам жанра что-то должно было случиться. Это не могло быть правдой. Не могло быть реальностью. (В драматургии — еще может быть.) Зубы стучали, а нога не переставала биться в истерике. Я не послушал кизилowое дерево.

Ольга

Стоял самый обычный летний день. Разве что чуть-чуть прохладней, чем всегда. Я решил перестать волноваться. (Как минимум потому что волнение мешает исполнению цели.) Никаких наряжений. Никакого официоза. Сегодня я сделаю все, как нужно. А для этого следует изобразить простоту и незамысловатость. Отвезти газонокосилку для Шайтан-травы? Да не вопрос. Ведь я обычный милый парень, который не делает из этого события цели всей своей жизни. Я не пилил себя весь год в надежде на этот день. (И не написал шестьдесят страниц своей боли.) Я даже, вот, босоножки надел вместо лакированных туфель, чтобы сразу было видно как все просто, и что я ни о чем не переживаю. Все идет по плану (которого у меня, честно говоря, нет). Да и устал я переживать. Сколько можно-то? Да-да, нет-нет. Жизнь простая, жизнь бинарная. Как в детстве. Без промежуточных состояний. Без неуверенных “да”, без ничего не значащих “нет”. Без всего ада, что посередине. (И я ведь правда верил, что так может быть, ведь я надел босоножки, а значит, меня ничто не должно заботить.) Над Метромостом огромное голубое небо создавало ощущение полета. Я боялся торопиться, будто каждый физический миг этого дня имел какую-то особую важность. Я опаздывал, но сегодня все пойдет как должно. В этом у меня не было сомнения. “Как должно” не предполагало плана, не предполагало искусственности. Само ожидание выкристаллизуется в действие самым естественным образом. Ведь иначе... Ведь иначе все это не имеет никакого значения.

В Скатертном переулке было пусто. Одинокие машины вдоль тротуаров и никого. Ольга должна была скоро появиться. В ожидании я разгуливал вдоль краешка тени. Сегодня Ольга не будет писать, она заговорит. Ведь это же меняет дело? В разговоре можно услышать запах правды в противовес искусственности, ведь так?

Шайтан

— Привет.

Ольга стояла с огромной коробкой на пороге. Я замер, боясь ее выхватить. Время как бы остановилось, но при этом начало бесконечно быстро убывать, огромным секатором срезая графы вероятностей и обнажая единственную возможность, которая назовется реальностью. Но и реальность, уже обозначившаяся, кричала мне из будущего о том, что никакой вероятности, на самом деле, не существует, конец заранее известен, и именно он тянет меня по злополучному дереву графа к единственному возможному финалу. Я подхватил коробку и постарался ухмыльнуться.

— Странный день.

— Воистину странный.

Мы ехали по шоссе. Я боялся ехать слишком медленно, чтобы она не подумала, что я хочу провести с ней больше времени, чем отведено. (Я боялся ехать слишком быстро, чтобы она не подумала, что я хочу нас убить.)

— Представляешь, я совсем не знаю, как едет машина. Я жму на педали, кручу рулем...

— Рулевым колесом.

— ... Рулевым колесом. И мне абсолютно наплевать, как она работает.

— Зато я хорошо выучила, как она работает.

— Зачем?

— У меня был личный автомеханик без машины. Все уши прозудел. Жуть.

— Автомеханик — всё?

— Да.

— Так может?..

— Я не хочу сейчас об этом говорить.

— Ты ведь не представляешь, как... Ты не представляешь, что...
— Мне больно сейчас об этом говорить.
Я замолчал. Ее укачивало, она приоткрыла окно и смотрела вдаль.

Колодец

Ее мать отправила нас за водой к колодцу.

— Кажется, я вьюсь вокруг тебя как барвинок.
— А мы с тобой в народной песенке, да?
— Ну может это самое время тебя украсть?
Она усмехнулась.
— Можно я украду тебя после того, как мы наберем воду?
— Куда?
— Погулять.
— Скучно.
— Посидеть?
— Скучно.
— Предложи ты?
— Я предлагаю тебе включить фантазию.
— Все-таки посидеть?
— Настойчивость тоже сойдет.

Вода опять вылилась из ведра. Я слишком резко крутил ручку. (Я стоял перекосячившись, повернувшись наполовину к Ольге, наполовину к колодцу.)

Ее мать, не увидев никаких изменений в наших лицах, во второй раз отправила нас за водой.

— Мне кажется, в давние времена ходили целоваться к колодцу.
— Чтобы увлечься и упасть вместе вниз?
— Как думаешь, ты умираешь от того, что падаешь и бьешься о стенки или когда тонешь в холодной воде, не в силах схватиться за выступ?
— Мне кажется, ты сперва себя ломаешь, а потом медленно и мучительно тонешь.
Ее мать в третий раз отправила нас к колодцу. Скорее всего уже просто так, для освобождения совести.
— Можно я напишу про тебя повесть?
— Дашь почитать.
— Ты ведь все знаешь, да?
— Конечно, я оракул.
— Мне ведь не стоит ни на что надеяться?
— Тебе, наверное, лучше знать.
— Так стоит?
— Ты мне скажи.

Ведро ударилось о стенку и перевернулось. Гулкое эхо залило тишину.

Байка про Дайан

По дороге назад Ольга молчала. Тишина раздражала меня, давала ощущение упущенной возможности. Мне нужно было говорить, рассказывать, развлекать. Меня не интересовало можно ли ей слышать такие истории. Нужно было как-то ее поддеть.

Заставить говорить. Вытащить ее, настоящую. Я начал.

У меня была одна подружка. Ну как подружка... Мне нравилась девочка. Худющая.

Симпатичная. Наполовину калмычка. Ее звали Дианой, но она любила, когда ее называют Дайан. Она всегда была в огромных зеленых бусах (иногда под красное платье), напоминавших анальные шарики. Бусы были дорожные, о чем Дайан не забывала всем рассказывать. Однажды она, ни с того, ни с сего, разрешила мне сходить с собой на свидание.

Мы сидели в кафе и смотрели в телевизоре как одинаковые модели ходят по подиуму.

— Господи, какие же они прекрасные. А я, толстуха, не могу быть похожей. Я вешу сорок два, а нужно весить сорок. Ты не представляешь, какое это счастье, весить сорок. Я хочу быть как Твигги. Может начать колоть героин? Страшно, но это приведет меня к мечте.

Мы пошли в кино. В тот раз был фильм про Лох-несское чудовище (я не шучу). Я сидел рядом с ней, с твердой уверенностью, что мне нужно ее поцеловать. Не знаю почему, но что-то задевало меня в ее безумии. Есть, наверное, что-то прекрасное в ослепленном стремлении к идеалу, пусть даже уродливому и искусственному.

Не знаю, что мешало мне ее поцеловать. Схема была простая — закидываешь руки, будто потягиваешься, обнимаешь ее, резко поворачиваешься и целуешь. (Поворачиваться нужно было именно резко, иначе эффект пропадет.) Прошло десять минут, потом пятнадцать. Несси уже вылупилась из яйца, а я все не решался поцеловать Дайан. Я чувствовал себя отвратительным, жирным. Мне казалось, что пуговицы на рубашке вот-вот выстрелят под натяжением от величины моего живота.

Наконец я решился — забросил руку и резко повернулся. Дайан билась в конвульсиях. Когда мы вышли, она очень удивлялась, что живот скрутило именно сегодня — ведь она съела целых полтора яблока за два дня. Живот должно было свести завтра. Она согласилась выпить чуть-чуть сока. А потом, под надуманным предлогом, быстро сбежала.

После этого случая я перестал жрать. Будто маленькая Дайан сидела у меня в голове и испытывала к себе отвращение.

— А я помню, как я впервые поцеловалась. Это было неожиданно, мальчик мне не очень нравился. Пока он меня целовал, я широко открыла глаза и смотрела на вывеску соседней стоматологии, подумывая, что гораздо интереснее было бы сходить к зубному.

Паяц

Мы сидели в летнем кафе. Ольга молчала. Я доедал салат.

— Что все-таки это значит?

— Да ничего, наверное.

— Ну ты объясни, я ведь совсем не могу. Я ведь совсем ничего не понимаю.

— У меня просто настроение идиотки, паяца.

— Все ради шутки?

— Все просто так.

Я проводил ее к подъезду.

— Пока мы шли, я заметил интересную вывеску вон на том доме, может ты посмотришь на нее пристально, пока я тебя целую?

— Дурачок, — засмеявшись, сказала Ольга и быстро шмыгнула в подъезд.

Зельда

Во сне мне явилась Зельда — манекен, сотканный из моих фантазий и иллюзий. Из моих мечтаний, из моей реальности. Из моего бессилия и моей абсолютной власти. Из моей печали. Из моей правды, которая больше похожа на кривое зеркало. Из моей любви, которая не могла смириться с реальностью.

Заклеенные черным скотчем глаза. Ухмылка холодного всевластия, доставшаяся ей по наследству от Озимандия. Зельдина горжетка. Венерина грудь. Руки Маргариты, утопившие своего ребенка. Волосы Офелии, утопившей себя. Пластырь, наклеенный на безупречную ногу. Швы, соединяющие тряпичные суставы. Надеюсь, в ней была крупница настоящей Ольги, на самом кончике носа.

Идеальная в каждой детальке и уродливая в своей целостности. Холодная, неживая, моя. Я обнял ее.

Самолет

Последние свои деньги я потратил на билеты. Я хотел уехать туда, где меня никто не ждет. Но уже в аэропорту эта мысль вызвала неопиcуемый ужас.

Я выбрал место около иллюминатора. Специально потратил время, чтобы окно было рядом. Когда меня попросили пересестъ – я не мог отказать. Как и любая наглость, выполненная в уведомительном порядке, эту невозможно было исправить без больших неприятностей, чем она несет собой изначально. А если и стоило возмутиться, то я никогда об этом не узнаю, потому что я все равно сразу смутился и сдался. Я почувствовал себя виноватым за хамство другого человека. Прощать себе слабость такого рода – значит отпустить жизнь и не бороться. Наказанием мне стала белая стена с едва заметными серыми полосками вместо светлого иллюминатора. Умноженная на культивируемый, раскручиваемый в себе, невротический страх, она вызвала у меня приступ клаустрофобии. Я сомневаюсь, что у меня клаустрофобия, я провожу в закрытых пространствах огромный кусок своей жизни. Просто нервы. Сперва мне стало тесно в кресле. Несмотря на то, что кресла действительно малы, я помещаюсь в них с легкостью. После, мне на голову начал давить потолок. Когда выключили свет, он и вовсе улегся мне на макушку. Я закрыл глаза и ощутил, что стена не просто касается меня, но давно прошла сквозь меня. Я прижался к ней сильнее, хоть она и давила в ответ, но при этом давала хоть какое-то ощущение стабильности. Отсутствие света из окна делало доступное мне пространство еще меньше. Я завидовал счастливцу, который сидел всего на одно кресло дальше и мог наблюдать наше приближение к смерти. Я не боюсь самой идеи конца жизни, но как же страшно, когда тебя волочат к нему с мешком на голове, не давая ничего осознать, ощутить миг; как бы подвешивают в неизвестности и наглым, прерывистым шумом мотора делают полунамеки о происходящем. (Я пишу это, чтобы отвлечься, я пишу это, чтобы не думать.)

Я пытался подглядывать в соседние иллюминаторы. Кажется облака, кажется уже все.

Эдинбург

Я шел по темному городу в свой отель. Я выбрал дорогу параллельную главной. Я постеснялся взять такси, хотя они и кружили вокруг меня как стервятники. На карте было куда ближе, чем ногами. (Все дело в масштабе.) Из одиноких баров неслись вопли и каверы на Оазис. Улицы были пустынные. Наверное, я приехал слишком поздно.

Я догнал пьяную женщину спотыкавшуюся на высоких каблуках, которая при ближайшем рассмотрении оказалась пожилым трансвеститом, хромым Тиресиём (объективным рассказчиком). Наконец она упала и залилась утробным хохотом, смотря мне прямо в глаза. Я улыбнулся ей в ответ. За неделю своего путешествия я совсем разучился говорить с людьми. Меня трясло от одной мысли, что я могу что-то сказать. И только в поезде до Эдинбурга я смог поговорить с пожилым профессором про Толстого и Караваджо. Чертовы англичане: они готовы часами говорить с тобой про Караваджо, но никогда не принесут тебе стакан воды, если ты пропустишь артикль. И вот теперь я улыбаюсь трансвеститу.

Отель оказался лучше, чем я предполагал: просторная комната, большая кровать. Когда я погасил свет, за стенкой начала орать женщина; ее мужчина, периодически отвлекаясь от тяжелого постанывания, вдруг громко сморкался. Я бы заплатил, чтобы посмотреть на такое. (Впрочем длилось оно недолго.) Я заснул.

Весь день я посвятил осмотру стандартных достопримечательностей. В замке Эдинбурга ко мне подошел молодой кореец и начал рассказывать, как ему одиноко. Я же решил сохранить собственное одиночество как своеобразный подарок судьбы, а потому поспешно сбежал из замка.

К вечеру я понял, что не смогу увидеть Эдинбург еще когда-нибудь, а потому вышел на прогулку, в соседний парк, к трону Артура.

День подходил к концу. Солнечный туман погружал город на горизонте в контрастную тьму.

Я же шел вверх, вдоль большого холма, который казался мне куда меньшим на карте. Просто закат, горы, город на горизонте и ничего больше. Холм с тронем Артура отбрасывал огромную тень. Я шел вперед, не задумываясь; так, будто красота пространства вокруг сама тянула меня наверх. Мне не приходила мысль развернуться. Только я и гора.

Ближе к вершине идти стало труднее, но мне казалось глупым бросить начатый путь. Наверху меня ждал только одинокий рукотворный камень и ветер. Горизонт съедал солнце, а город вдалеке зажигал лампочки и становился искусственным. Но разрушение волшебства, красоты закатного пейзажа, предавало ему еще большую ценность — мимолетность.

По пути назад я решил немного срезать и заблудился. Горные кусты быстро выросли в размерах, потихоньку уменьшая меня. Дикие кролики светлыми пятнами в темноте бросались мне под ноги. Я медленно сполз со скалы на асфальт, фары проезжающей машины осветили мне обратный путь. На утро мне предстояло ехать в Глазго.

Street Spirit

Глазго... отпусти меня, чертов Глазго. Я не могу больше. Ты, проклятая газовая камера между Лондоном и ничем. Глазго, моя удавка, мой вечный ком в горле. Как же я ненавижу твои перпендикулярные улицы, по которым носит толпы однообразных теней, ведомых шорохом бумажек с портретом ледяной королевы. Когда я потерянно шатаюсь по твоим улицам, ветер скулит так, будто я прогулял школу и должен куда-то срочно явиться, к твоим теням на заклатие.

За окном моей гостиницы был забор с колючей проволокой. За ним громко вопили матом. Тюрьма. С какой стороны тюрьма? Я посмотрел на телефон — кажется твоя тюрьма нашла себе еще кого-то. Серые стены гостиницы. Серое небо на горизонте. И меня носит по твоим улицам, Глазго. Отпусти меня, пожалуйста. Какой отвратительный ком режет горло. Масло Доре в твоём музее сразу бросается в глаза. Масло Доре, вы представляете? На нем я вижу холмы Эдинбурга. Пронизанные красотой. А ты, Глазго? Уродливый Глазго, отпусти меня. Он задохнулся в Берлине. Бедная Саша. Она говорила, что он просто задохнулся, разучился дышать, ей было важно, чтобы он задохнулся не в блевотине. Потому что разница есть. Просто перестал дышать. На похоронах небось стояла с его безумной сектантской любовницей и рыдала. Глазго, зачем ты водишь меня по своим улицам, Глазго? Ряды твоих одинаковых домов душат меня.

(Скатертный переулок)

Я приехал к ней летним вечером. В моих руках шелестела рукопись, которую я написал только для нее. Я сел на бордюр и стал ждать. Из окна дома напротив играл Синатра. Да, я хочу, чтобы играл Синатра. Свою самую попсовую. Strangers in the Night. Хочу, чтобы играла именно она. Где-то рядом визжала сирена. Видимо, пожарные едут психбольницу тушить. Время шло, а Ольга все не выходила. Начался легкий летний дождь, быстро переросший в ливень. Я продолжал сидеть один, наблюдая, как буквы повести становятся неразборчивыми и медленно стекают из страниц в ничто.

Fade Out

Я пялился в телефон. Она нашла кого-то еще. А меня нашел Глазго. Когда рассыпается сознание, остаются лишь механические движения, наполненные пустотой. Ком в горле. Простая последовательность действий, не более. Окно, за которым тюрьма. И небо, обклеенное серыми-серыми обоями, раскачивалось из стороны в сторону. Надеюсь упасть.